ЈАН СВОГАР

ACADEMIA

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Под общей редакцией
А. М. Эфроса

ШАРЛЬ НОДЬЕ

(1780 — 1844)

ACADEMIA
Москва — Ленинград

ШАРЛЬ НОДЬЕ

ЖАН СБОГАР

Перевод В. Н. Карякина

Редакция и примечания
Е. А. Гунста

Предисловие *И. М. Нусинова*

ACADEMIA
1934

CHARLES NODIER

JEAN SBOGAR
1818

Рисунки, заставки, концовка,
переплет и супер-обложка
В. Г. Бехтеева

Шарль Нодье

Портрет работы Полен-Герен

ШАРЛЬ НОДЬЕ

(1780—1844)

В дни великого триумфа французских романтиков — дни премьеры «Эрнани» — Шарля Нодье среди торжествующих не было. За несколько месяцев до постановки, когда драма уже была написана Гюго и в обоих лагерях — классиков и романтиков — все было приведено в боевую готовность, Нодье выступил со статьей, в которой он резко атаковал вождя романтиков («La Quotidienne», 1 novembre 1829). Эту обиду, почти измену, Виктор Гюго запомнил на всю жизнь. Через сорок пять лет с характерным для него гиперболизмом он метнул в уже умершего Нодье озлобленные стихи:

Horreur! et voilà poussant des cris d'hyène
A travers les barreaux de la «Quotidienne» и т. д.
(«Contemplations», t. I, p. 102)

Но если тон этих стихов и преувеличен, все же следует признать, что он вызван реальным негодованием. Для Гюго и его соратников отход от них Шарля Нодье в столь решительную минуту был полной не-

ожиданностью. Постановка «Эрнани» была высшим торжеством для первого кружка романтиков. А ведь первый кружок романтиков был детищем Шарля Нодье: он сложился в 1824—1825 гг. на воскресных приемах у Нодье в Арсенале, под руководством этого писателя и вокруг него.

Напрасно станете вы искать у буржуазных историков литературы серьезных объяснений этому факту. В одной из новейших работ по истории романтизма во Франции мы читаем, например, следующее:

«В 1827 году Шарль Нодье находит, что Виктор Гюго мало цитировал его в своем предисловии к «Кромвелю».

«В 1828 году В. Гюго забыл где-то упомянуть его. Обиженный, он забывает свою старую дружбу с В. Гюго и атакует его в момент, когда эта атака оказалась особенно чувствительной» (Maurice Souriau. «Histoire du romantisme en France». Paris 1927, t. I, p. 135).

Удар Нодье по Гюго в те дни, когда решался вопрос о том, допускать ли «Эрнани» к постановке, и выступление Нодье могло сыграть далеко не последнюю роль в этом деле, меньше всего был результатом личных обид, невнимания В. Гюго к Нодье и т. п. Само это невнимание и тот факт, что в 1829—1830 гг. В. Гюго и целый ряд выдающихся участников первого кружка романтиков стали более редкими гостями в Арсенале, требуют объяснения. Все эти явления вызывают и такой вопрос: почему Шарль Нодье — какникак литературная фигура второго ранга — стал центром, вокруг которого одно время группировались столь значительные фигуры, как молодые Виктор Гюго, Альфред де Виньи и отчасти Ламартин (который был моложе Нодье только на десять лет)? Ответ на этот

вопрос скрывается в противоречиях романтизма, в глубоко различных исторических и социальных корнях французских романтиков,— в особенности романтиков, объединенных в первом кружке.

Над всем этим меньше всего задумывались буржуазные историки романтизма. Уже цитированный Морис Сурио заполняет целые страницы своей работы описанием воскресных вечеров в Арсенале, проходивших по неизменной программе. Он устанавливает, что из знаменитых посетителей Арсенала Мюссе чаще всего был среди танцующих, а Александр Дюма среди беседующих, что жену Шарля Нодье все запросто звали Марией, но когда Жан де Рессегие захотел также запросто назвать мадам Гюго — Адель, он попросил разрешения у Виктора Гюго, и тот решительно отказал ему.

Почтенный профессор филологического факультета с добросовестностью и тщательностью, достойными лучшего применения, каждый раз приводит источники, им обследованные, по которым он установил эти «исключительной научной ценности» факты. Мы узнаем, что о пристрастии Делакруа и Мюссе к вальсам свидетельствует Амори-Дюваль на шестнадцати страницах своих воспоминаний, а об отказе Виктора Гюго в разрешении Жану Рессегие называть его жену Аделью сообщает Саломон в монографии «Шарль Нодье» (стр. 210—211).

Это загромождение работ Сурио по истории романтизма литературными анекдотами сомнительной ценности нельзя относить исключительно за счет общей деградации современной буржуазной науки, в особенности науки о литературе, и в частности французской буржуазной науки о литературе. Дело в том, что вот

уже четверть века, как французское литературоведение больше немецкого или даже итальянского живет эклектической похлебкой, приготовленной из остатков от стола корифеев буржуазного литературоведения XIX века. Сурио в значительной степени продолжает традицию прошлого всей буржуазной науки. Ведь даже Георг Брандес, определяя место романа «Жан Сбогар» в творчестве Нодье, не нашел сказать ничего другого, как то, что Шарль Нодье, «вообще слепо подчинявшийся вкусам и желаниям своей жены», отказался уступить ей, когда та потребовала, чтобы он вычеркнул из романа подробности о том, что Жан Сбогар носит в ушах серьги. Георг Брандес обстоятельно повествует, что, когда у обычно покорного своей жене Шарля Нодье «время от времени появлялись мятежные вспышки и он ссылался на свое подчинение во всех других отношениях, г-жа Нодье обыкновенно восклицала: «Не забудь, что ты ни за что не захотел пожертвовать мне серьгами Жана Сбогара». Уверяют, что литературные споры в этом супружестве ограничивались только этим единственным пререканием».

Значение Шарля Нодье для истории романтизма, характер его взаимоотношений с романтиками, особенность его роли в создании первого кружка романтиков, содержание творческого пути Шарля Нодье и всей его литературной судьбы, конечно, нельзя раскрыть ни при помощи исследований о том, кто с кем танцовал в залах библиотеки Арсенала, где Нодье директорствовал в те годы, ни выяснением обстоятельств семейной жизни Нодье и его взаимоотношений с женой. Ответ на все эти вопросы надо искать в исторических обстоятельствах, в живой классовой действительности, которая обусловила развитие романтизма и, в частности,

значение творчества Шарля Нодье в истории этого движения.

Романтизм во всей Западной Европе был выражением недовольства различных социальных групп той действительностью, которая образовалась в результате Великой французской революции. Так называемое бегство романтиков от действительности, уход в мечту, фантастику и легендарное прошлое — все это было формой отрицания нового социально-политического режима, пришедшего на смену старому, дореволюционному.

До Реставрации эти настроения были особенно характерны для аристократии, для некоторых жирондистских групп буржуазии, напуганных якобинской диктатурой, а после ущемленных Наполеоном. В эпоху Реставрации эти настроения стали доминирующими среди мелкой буржуазии, но не были изжиты и идеологами аристократии.

Реставрация вернула к власти старую династию. Но она была бессильна восстановить тот социально-экономический порядок, на котором покоилась в прошлом власть Бурбонов. Никакие пышные празднества при дворах Людовика XVIII и Карла X, никакое восстановление титулов и званий не могли изменить того факта, что феодализм умер, старый режим похоронен революцией навсегда, капитализм восторжествовал и первое место в жизни принадлежит банкиру, буржуа. На этот факт в какой-то мере мог закрывать глаза тонкий слой придворной аристократии; жадно пользуясь властью, он, вследствие своей исторической слепоты, не замечал, что дни аристократии сочтены. Социальная практика этого слоя, как и поведение самих Бурбонов, целиком определялась тем, что за время революции и своего изгнания они «ничего не забыли и ничему не научились».

Но Реставрация не в состоянии была примирить с действительностью основную массу дворянства — аристократию, которой остались от прошлого одни только титулы и звания. Шатобриан, выражавший в дни Реставрации настроение правящей группы аристократии, поняв, что феодализм погиб безвозвратно, мог заявить, что отныне бороться не дано и осталось только одно — жить. Этот искушенный приспособленец, сумевший, несмотря на свою исключительную ненависть к революции и порожденному ею миру отношений, с одинаковым цинизмом выполнять функции дипломата как при Наполеоне, так и в дни Реставрации, превозносил теперь эпикуреизм приживальщиков. Но представитель молодого воинствующего поколения аристократических романтиков, Альфред де Виньи, испивший вместе с основной массой аристократии всю горечь несбывшихся надежд и отравленный разочарованием обреченного класса, искал последнего утешения в гордой смерти без слез и стенаний.

Не менее глубоко было разочарование мелкой буржуазии. Несмотря на то, что Реставрация не могла спасти старый порядок, действительность слишком расходилась с возвещенными великими учеными, философами, социологами и поэтами XVIII века идеалами, за которые молодая Франция в течение четверти века сражалась и погибала не только на улицах Парижа, на полях Вандеи, но и в отдаленнейших углах Европы.

Поколение Дидро — Руссо, сходившее в могилу при явственно слышимых раскатах приближающейся бури, умирало с глубокой верой в то, что поколение, идущее ему на смену, вернет человечество к «естественному состоянию» на основе социального договора народа с законодателем. Но на самом деле борьба наследников

Дидро — Руссо за превращение этих идеалов в действительность вместо осуществления принципов свободы, братства и равенства привела к могуществу разжиревшего на военных поставках купца и разбогатевшего от спекуляций банкира.

Различны были причины разочарования в действительности, различно социальное содержание скорби, различна мечта об иной жизни у романтиков аристократии и романтиков мелкой буржуазии. Но реакция господства «Священного союза» во всей Европе и реставрация Бурбонов во Франции толкали не только радикальную мелкую буржуазию, но и реакционную аристократию в оппозицию к существующему социально-политическому режиму.

Несмотря на реакцию, реальное соотношение классовых сил исключало всякую возможность возврата феодализма,— капитализм победил окончательно. Но это же соотношение классовых сил было немногим более благоприятно и для мелкой буржуазии. Вторично выйти на сцену истории и сыграть ту всемирно-историческую роль, которую она сыграла в дни Конвента, ей больше не было суждено. Капитализм был в значительной степени обязан своим торжеством героическому поведению мелкой буржуазии в дни Конвента. Но потомков великих якобинцев он выставил за дверь.

Бессилие аристократии и мелкой буржуазии перед торжествующей буржуазией заставило тех и других отвернуться от действительности. Оно заставило их противопоставить реальной жизни свою мечту о действительности или легенду о прошлом.

Давать реальное изображение действительности — значило для аристократии показать, что ее социальное унижение не только неизбежно, но и справедливо, ибо,

несмотря на свой эксплоататорский характер, пришедшая ей на смену буржуазия есть класс более прогрессивный. Недаром буржуазный реалист Бальзак при всех своих симпатиях к аристократии уже в дни Июльской монархии находил наиболее положительные образы в среде буржуазных республиканцев, «видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи» (Энгельс). В том, что, несмотря на свои симпатии к аристократии и легитимистские предрассудки, Бальзак сумел это показать, Энгельс видел «одну из величайших побед реализма, одну из величайших особенностей старика Бальзака». Но при всех своих симпатиях к аристократии, при всех своих легитимистских настроениях Бальзак был буржуазным писателем. Его реализм был порожден победой его собственного класса. Другое дело Шатобриан и Альфред де Виньи, с одной стороны, Виктор Гюго или Шарль Нодье — с другой. Это были писатели аристократии и мелкой буржуазии.

Бальзак мог давать положительные образы аристократов и вскрывать существенные недостатки буржуазии, потому что, во-первых, вся его критика была критикой на основе буржуазных отношений; во-вторых, буржуазия была тогда достаточно сильна для того, чтобы в известной мере объективно видеть и показывать некоторые существенные стороны действительности; и, наконец, Бальзак был способен на это, потому что был идеологом не господствующей в то время денежной буржуазии, а буржуазии торгово-промышленной, которая в те дни была к ней в оппозиции. Для аристократии же давать реальную картину действительности обозначало идеологически ускорить собственную гибель и укрепить позиции своего могильщика.

В свою очередь и писатели мелкой буржуазии, давая реалистические изображения действительности, должны бы были признать, что их классу суждено стать лакеем буржуазии, ее приказчиком и прихлебателем, а никак не верховным арбитром нации, стоящим над борющимися классами, на что продолжали надеяться мелкобуржуазные идеологи. Классовые конфликты решаются силой. И как раз потому, что у мелкой буржуазии больше не было силы разрешать социальные конфликты в свою пользу, ее идеологи стремились разрешить их гуманитарной и пацифистской фразой. Великий мелкобуржуазный гуманист Виктор Гюго стремился представить всю историю человечества как борьбу добра и зла, ангела и дьявола, красоты и безобразия. Путь отдельного человека и всего человеческого общества — это путь от безобразия к красоте, от дьявола к ангелу, от зла к добру. Задача поэта — ускорять продвижение человечества по этому пути проповедью добра и красоты.

Эта идеалистическая философия находилась, разумеется, в резком противоречии с социальной действительностью. И вот идеологи радикальной мелкой буржуазии, так же как идеологи консервативной аристократии, отвернулись от действительности, объявив ее недостойной внимания поэта посредственностью. Объективному художественному показу действительности они противопоставили ничем не ограниченную, самодовлеющую фантазию поэта.

В своей работе о Шарле Нодье Сент-Бев писал: «Паролем поколения политиков и революционеров 89 года было право; паролем повинующегося и милитаризированного поколения Империи был долг. А наше романтическое и поэтическое поколение имеет своим

паролем фантазию» (G.-A. Sainte-Beuve. «Portraits littéraires». Paris 1855, pp. 439—440).

Сент-Бев неправ, приписывая это всему поколению в целом. В особенности это было неверно в 1840 году. Тогда творили великие реалисты Стендаль и Бальзак, отвергавшие романтическую мечту. Их фантазия была устремлена на действительность. Но слова Сент-Бева полностью относятся к поэтам-романтикам, ставившим на первое место фантазию, парящую над действительностью.

Известно, что никакой поэтический или философский уход от действительности не является подлинным уходом от нее. Подлинный уход от действительности неосуществим ни для какой дерзновенной поэтической романтики или спекулятивной идеалистической философии. Поэтический или философский уход от действительности есть лишь выражение нежелания примириться с данной действительностью, и, следовательно, отход есть форма воздействия на жизнь в целях ее изменения.

Экономический и социально-политический режим Реставрации был неприемлем ни для аристократии, ни для мелкой буржуазии. Отрицание действительности объединяло поэтому консервативных, стоявших на аристократических позициях романтиков и радикальных романтиков, отражавших в своем творчестве мелкую буржуазию. Но этот блок был ограниченным и временным. Глубоко различны были мотивы бунта против действительности у обеих групп, глубоко различен был поэтому характер этого бунта, противоположны были, наконец, положительные идеалы, противопоставлявшиеся теми и другими существующему режиму.

Консервативные романтики были недовольны Реставрацией, потому что она слишком мало восстановила;

они мечтали о возврате к Людовику XIV. Радикальные романтики были недовольны Реставрацией, потому что она стремилась вычеркнуть из жизни все созданное великим двадцатипятилетием (1789—1814). Если консервативные идеологи аристократии мечтали о модернизированном режиме Людовика XIV, то идеологи мелкой буржуазии мечтали о возврате к более близкому прошлому, только на новый лад,— о восстановлении конституции Конвента, но без диктатуры и без террора. Согласно формуле В. Гюго, они стремились разрушить монархию и на ее месте построить республику, но не республику террора, а республику милосердия, где нет рабов и каждый сам себе хозяин.

Условия реакции, лишившие идеологов мелкой буржуазии возможности перевести свои стремления с языка романтических туманностей на язык политических требований и вообще до крайности сузившие область политической активности мелкобуржуазной демократии, временно скрадывали противоречия между радикальными и консервативными романтиками и объединяли их против общего врага — существующего экономического и политического режима.

Но противоречия между ними все более обнажались по мере приближения революции 1830 года и в особенности на другой день после нее. Июльская революция 1830 года окрылила надежды всех мелкобуржуазных демократов. Это была, по определению Маркса, буржуазная революция, окруженная демократическими учреждениями, в отличие от революции 1848 года, которая была демократической революцией, окруженной социальными учреждениями. Победа 1848 года для мелкой буржуазии с самого начала омрачалась грозной фигурой пролетариата, до-смерти испугавшего ее при-

зраком коммунизма. Напротив, революция 1830 года своей буржуазной сущностью и демократической видимостью опьянила ее надеждой. Мелкобуржуазные демократы увидели в ней начало осуществления своих идеалов, первый решительный шаг человечества от зла к добру, от безобразия к красоте, выражаясь языком В. Гюго.

Напротив, консервативные романтики не могли не заметить, что Реставрация вернула из прошлого все, что только можно было вернуть, и что правление Людовика XVIII и Карла X было периодом короткого выздоровления перед смертью. Теперь между вчерашними друзьями разверзлась пропасть. Глава радикальных романтиков, еще совсем недавно — в дни постановки «Эрнани» — выступавший признанным вождем всего романтизма, теперь поспешно порвал со своим католическим и монархическим прошлым, отвернулся от него, как от греха молодости, и направил свой поэтический корабль влево — через конституционный парламентаризм Июльской монархии к демократической республике, пламенным борцом за которую он оставался последние сорок лет своей жизни.

Альфред де Виньи, некогда тесно связанный с Виктором Гюго по первому кружку романтиков и воскресным вечерам у Шарля Нодье, сделал теперь основным мотивом своей музы гордую, полную достоинства смерть обреченных и отчаявшихся.

Первый кружок романтиков распался. Социальная диференциация романтизма диктовала новые литературные группировки.

Именно в исторической обстановке, которая сперва — в дни Реставрации — цементировала писателей различных социальных групп в общий кружок романтиков,

а затем — после Июльской революции — вызвала распад первого кружка, надо искать объяснение той роли, которую Шарль Нодье сыграл в истории французского романтизма, как и вообще в истории французской литературы своего времени.

Сент-Бев остроумно заметил, что драма поколения Шарля Нодье заключалась в том, что оно приходило всегда или слишком рано или слишком поздно.

Это целиком относится и к самому Шарлю Нодье как писателю. Он родился в 1780 году [1]. Грозовые годы 1789—1793 были годами его детства. В годы консульства он стал юношей и созревал, когда Директория умирала, а Империя еще не родилась. Для того чтобы включиться в армии сражавшихся за или против Конвента, охранявших Директорию или подготовлявших вместе с будущим императором ее взрыв, Шарль Нодье пришел слишком поздно. Но в то же время он пришел слишком рано для того, чтобы стать партизаном Империи или знаменем в литературной борьбе при Реставрации. Этому мешали впечатления его детства и юности. Его жизнь прошла в бурной смене больших исторических этапов. Разбег и направление, данные предыдущей эпохой, каждый раз ударялись о встречные ветры, вернее — ураганы нового этапа.

Но поскольку он в известной степени отразил литературные настроения каждого из этих боль-

[1] Нужно отметить, что дата его рождения точно не установлена. Сам он утверждал, что родился 29 апреля 1780 г. По данным, исходящим от близких к нему людей, он родился в 1781 г. или даже в 1783 г. Г. Лансон в своей популярной «Истории французской литературы» придерживается даты 1783 г.; Сент-Бев всюду исходит из даты 1780 г.

ших исторических этапов,— «честь Нодье,— по справедливому выражению Сент-Бева,— состоит в том, что он изумительно представил мечущуюся эпоху, в которую сам был брошен» (Sainte-Beuve. Op. cit., t. I, p. 438).

Тезис о том, что Нодье принадлежал к поколению, приходившему всегда слишком рано или слишком поздно, служит у Сент-Бева объяснением того факта, что при всем многообразии и значительности своего творчества Нодье не стал ведущей фигурой литературы, подобно Шатобриану или Виктору Гюго, которые пришли оба во-время — каждый для своей эпохи.

Однако такое объяснение не может быть признано удовлетворительным. Вихрь сменяющихся революционных, а затем контрреволюционных режимов захлестнул не одного Нодье. «Слишком рано или слишком поздно» пришел и Стендаль, который тоже родился в 1783 году; но во французской литературе он был и остался мэтром, независимо от того, что круг Нодье — круг романтиков — долго его не понимал и не оценивал. Смена исторических этапов не оказала рокового действия на творчество Стендаля, потому что на всех этапах он был выразителем одной определенной силы, в качестве участника событий всегда находился по одну сторону баррикад и стремился активно воздействовать на эти события даже тогда, когда говорил, что удаляется от мира. А Шарль Нодье выражал настроение тех, кто устал от событий и стремился остаться вне их. На всех этапах он выражал не натиск одних и сопротивление других, не бурю эпохи, а только веяние времени. Самое творчество его поэтому никогда не становилось литературной бурей, а всегда оставалось лишь барометром где-то происходящих бурь. Чутко сигнализируя близкую пере-

мену погоды, сам он никогда литературной погоды не делал.

Поколение, вошедшее в жизнь в годы Империи, было поколением большой действенности. Если паролем его, как говорит Сент-Бев, был долг, то нужно отметить, что выполнение этого долга было связано с напряженной практической деятельностью — военной, хозяйственной, политической. Детские годы Нодье могли сообщить это направление и ему: его отец был вторым революционным мэром Безансона. Детство писателя проходило в атмосфере клубных дебатов. Ребенком он участвовал в делегации, посланной из Безансона к генералу Пишегрю с поздравлением по поводу удачного сопротивления наступавшим австрийцам. Мальчик долгие годы вспоминал свою встречу с генералом, в ту пору защищавшим революцию. Но, связанный с жирондистской буржуазией, а через нее с провинциальными кругами среднего дворянства, Нодье, в конце концов, не пошел по пути революционера. Еще юношей, очутившись в эмиграции вместе со своим временным воспитателем, провинциальным учителем из дворян, которого Сент-Бев называет безансонским Линнеем, он увлекся математикой и естественными науками и начал собирать свои энтомологические коллекции. В 1798 году он даже опубликовал в Безансоне работу о слуховых органах у насекомых, что было тогда научным открытием. Вернувшись из эмиграции после Термидора, он бросил свои занятия естествознанием и стал изучать право: его отец страстно желал видеть его адвокатом. Но в этой области он не имел большого успеха. Адвокатура во Франции всегда была дорогой к политической трибуне. А Нодье был представителем тех в свое время близких к Жиронде групп провинциальной мелкой бур-

жуазии, которые, начиная с дней террора, все время предпочитали оставаться в тени политических трибун, но не всходить на них. Именно поэтому он впоследствии провозгласил в качестве основного правила общественной мудрости требование при всех политических переворотах быть на стороне побежденных, так как это почти всегда значит быть на стороне права (Wey. «Vie de Charles Nodier», p. 12).

Но быть на стороне побежденных, как это понимал Нодье, вовсе не значило делить их участь, бороться против их победителей, а всего-навсего вздыхать вместе с ними. Заступничество Шарля Нодье за тех, «на стороне которых право», даже привело к тому, что в 1799 году он был привлечен к ответственности за участие в каком-то заговоре против общественной безопасности. Но это кончилось только тем, что он потерял место библиотекаря в городской библиотеке Безансона. Наказание, повидимому, вполне соответствовало преступлению. Вот как сам Нодье описывал впоследствии в одном письме свое участие в тайном обществе «Размышляющих» («Méditateurs»): «Мы садились в кружок на коврах и курили восточный табак из бамбуковых трубок; потом ели апельсины и винные ягоды и читали Экклезиаста и Апокалипсис» («Correspondance inédite», pp. 28 — 29). Неудивительно, что, когда Нодье был привлечен к ответственности за оду «La Napoléone», в которой он делает выпад против Наполеона, обзывая его «вероломным иностранцем», он на допросе поспешил покаяться и заявить, что он считает «это скверным поступком и что никогда не следует позволять себе писать против правительства» (Baldensperger, «Revue», 1905, p. 505. Цитирую по книге Maurice Souriau. «Histoire du romantisme en France», t. I).

Это заявление, не свидетельствующее об излишнем мужестве, не помешало Нодье во время Реставрации рядиться в костюмы жертвы «узурпатора» Наполеона. Верная этой позе, его дочь, Менесье-Нодье, опубликовала в 1845 году, уже после его смерти, официальную справку префектуры о том, что «6 плювиоза 12-го года Республики Шарль Нодье был препровожден в префектуру» («Charles Nodier. Episodes et souvenirs de sa vie». Par M-me Mennessier-Nodier. Paris 1867, p. 55).

Сент-Бев противопоставляет поведение Шарля Нодье в дни Империи поведению Шатобриана и мадам де Сталь: «Только два часто упоминаемых великих ума противостояли Империи — Шатобриан и мадам де Сталь». Но они отважились на это якобы потому, что принадлежали к другому поколению, были уже сложившимися людьми и притом прославленными. «Если бы они оба родились на десять или пятнадцать лет позже и им было бы в 1800 году только семнадцать лет, едва ли эти два вождя мысли так решительно противостояли бы» (Sainte-Beuve. Op. cit., t. I, p. 440).

Но дело тут, конечно, не в личном мужестве Шатобриана и мадам де Сталь и недостатке мужества у Нодье, и тем более не в том, что те родились вовремя, а Шарль Нодье вошел в жизнь слишком поздно для решительной оппозиции к Наполеону. Дело также и не в том, что имена Шатобриана и мадам де Сталь были тогда известны всей образованной Европе, а Нодье был начинающим поэтом и романистом. Дело в том, что эти писатели выражали тенденции разных классов. Шатобриан был представителем консервативного дворянства; мадам де Сталь — жирондистской буржуазии. Вместе с основной массой ее мадам де Сталь

приветствовала революцию до 1792 года, а в последовавшем затем социальном углублении революции увидела отказ от заветов XVIII века, под которыми она понимала торжество руссоизированной буржуазной личности. Отсюда ее романтический индивидуализм. Оппозиция Шатобриана к Империи была оппозицией представителя старого порядка к режиму, который утверждал торжество нового порядка, капиталистической системы. Оппозиция мадам де Сталь была выражением недоверия определенных групп жирондистской буржуазии к Наполеону и поисков компромисса с ним. Между тем Нодье был выразителем уставшей от революционных потрясений и рано разуверившейся в эффективности политических перемен мелкобуржуазной группы, известная оппозиционность которой к наполеоновской системе была скорее выражением социальной пассивности, чем готовности к борьбе.

Как мы уже видели, Нодье счастливо начал карьеру ученого естествоведа; казалось бы, он мог сыграть выдающуюся роль в науке. Его способность к научной работе проявилась, между прочим, и впоследствии в долголетней работе над словарем французского языка. Но он отказался от карьеры ученого, так же как и от карьеры адвоката. Страстью всей его жизни была книга, им созданная и оберегаемая. Половину жизни он провел на посту библиотекаря, сначала у себя в Безансоне, потом, с января 1824 года и до самой смерти, в Париже, в библиотеке Арсенала. Примечательно: он написал огромное количество книг, долго стоял в центре литературы, одно время был популярен не только среди писателей, но и среди читателей, и все же основным источником его материального благополучия была должность библиотекаря, а не его литературный

гонорар. Одна из причин этого в том, что связь его со своей читательской аудиторией никогда не была столь прочной и постоянной, как у Гюго, Александра Дюма или даже Альфреда Мюссе.

Это обстоятельство было вызвано одной важной особенностью Нодье: его творчество питалось не жизнью, а литературой. Он никогда не был борцом, сражавшимся за те или другие социальные идеалы, разрушавшим ненавистные ему жизненные устои и отстаивавшим желанные ему формы жизни через литературу. Это, конечно, не значит, что творчество Шарля Нодье не было продуктом социальной действительности и социальным фактом, в свою очередь принимавшими участие в формировании этой действительности. Это лишь определяет особый характер его воздействия на жизнь. Не сами социальные процессы, а их литературное отражение сообщало ему зарядку. Отсюда его исключительная чуткость ко всем литературным веяниям, с одной стороны, и невозможность для него стать мэтром какого-либо течения — с другой.

Он рано начал писать. Его первые произведения были созданы им двадцати, двадцати двух лет. Он был чрезвычайно плодовит. Библиография его работ составляет целый том. Его литературная деятельность была до крайности разнообразна: он был поэтом («Souvenirs», «Poésies diverses» и др.), романистом («Les Proscrits», «Le peintre de Saltzbourg», «Les tristes», «Jean Sbogar» и др.), драматургом («Bertram ou le Château de Saint-Aldebrand»), новеллистом («Inès de las Sierras», «La fée aux miettes», «Souvenirs de jeunesse» и др.), критиком, написавшим в возрасте двадцати одного года работу о Шекспире («Quelques pensées de Shakespeare»), сумевшим в статье о «Гансе

Исландце» высказать глубокое предвидение того нового, что нес в литературу Гюго, мемуаристом, оставившим несколько томов воспоминаний о Революции и Империи («Souvenirs, épisodes et portraits pour servir à l'histoire de la Révolution et de l'Empire» и др.), публицистом, систематически печатавшим свои статьи в органах самого разнообразного направления, хотя преимущественно оппозиционных, библиографом и языковедом, оставившим ряд работ, которые могли бы заполнить жизнь ученого специалиста, целиком посвятившего себя филологии или библиографии. Но, охватив столько областей, всегда и везде оставался он прежде всего занимательным рассказчиком, изумительным имитатором литературных форм, готовых и канонизированных или еще только нарождающихся.

По мнению Брандеса, «наиболее поразительной особенностью Нодье как поэта была та, что он постоянно на десять — двадцать лет опережал движения литературы» (Георг Брандес. Собр. соч. Спб. Т-во «Просвещение», т. IX, стр. 212).

Это мнение прочно вошло в литературный обиход. За Нодье утвердилась слава литературного новатора, который никогда не застывал в прежних формах, всегда был в поисках нового. Морис Сурио приводит опубликованную в «Annales Romantiques» (Juin 1908, pp. 173—174) беседу между Нодье и Гюго. Гюго утверждал, что Андре Шенье не был романтиком, так как его стихи не музыкальны, между тем как поэзия — это прежде всего песня. Нодье перебил его: «А я вам говорю, что в искусстве нет определенных прав, и романтизм, по-моему, должен быть свободой, управляемой вкусом».

Романтиков привлекала к Нодье именно его свобода от установленных правил, поскольку борьба против канонов и регламентации классиков была в центре их литературного внимания.

Свобода от канонов позволяла Нодье применять в своем творчестве самые разнообразные, едва зарождавшиеся жанры. И тем не менее, утверждение Брандеса о том, что Нодье всегда на десять-двадцать лет опережал литературные движения, неверно. В действительности он обладал способностью быстро улавливать новые веяния и одним из первых ассимилировать новейшие немецкие или английские литературные течения на французской почве. Но при этом он не создавал нового, а только с большим чутьем улавливал его приближение. И поскольку он не чувствовал себя стесненным канонами и связанным привычными, установившимися формами, он один из первых умел закрепить приближающееся новое в своем творчестве.

В этой восприимчивости не было ни литературной беспринципности, ни погони за модой, ни отсутствия индивидуальности. Тут сказывалось то, что, на наш взгляд, составляет главную особенность Нодье: прежде всего это был рассказчик, литератор, для которого все в жизни и в истории ценно преимущественно как тема, которую можно по-новому изложить, которую можно так или иначе стилизовать в духе того или другого писателя, той или другой модной манеры. Но он был творческой личностью и поэтому, подражая, все же создавал новую манеру, новый оттенок данного стиля, новую вариацию данного жанра. Так, едва приступив к изучению немецкого языка, он оказывается целиком захваченным «Страданиями молодого Вертера», и вот

он, руссоизируя образы этого романа, наделяет вертеризмом ряд собственных персонажей («Le peintre de Saltzbourg», «Les tristes ou Mélanges tirés des tablettes d'un suicide»).

Впрочем, по справедливому замечанию Сент-Бева, Нодье не руссоизировал Вертера, а, наоборот, германизировал, вертеризировал героя «Новой Элоизы» Сен-Пре. Дело в том, что индивидуализм Сен-Пре был глубоко демократичен и объективно революционен, тогда как вертеризм героев Нодье в эпоху Империи был вторжением чисто буржуазного антисоциального индивидуализма. Он смыкался с индивидуализмом мадам де Сталь и отчасти Шатобриана и Бенжамена Констана.

Нодье особенно прославился своими фантастическими новеллами и разработкой мотивов «кошмара и ужаса». Эта сторона его творчества тоже увлекала романтиков, поскольку и фантастика и мотивы «кошмара и ужаса» составляли существенную часть поэтики романтиков. Но и здесь он только одним из первых во Франции использовал то, что шло из Германии, в частности от Гофмана, и из Англии — от направления Анны Ретклиф. И как раз потому, что все это были готовые фабрикаты, которые он заново перерабатывал и декорировал в своей мастерской, он не принимал их всерьез. Все эти категории гофмановской фантастики и тайн Анны Ретклиф он эстетизировал. Георг Брандес говорит об «Inès de las Sierras», что это — «рассказ о привидениях, имеющий перед другими рассказами о привидениях то преимущество, что содержание его отличается законченной красотой. Впечатление ужаса, возбуждаемое необъяснимым явлением, смешивается с привлекательностью, оказываемой трогательной грацией этого явления» (Георг Брандес. Собр. соч., т. IX,

стр. 219). Дело в том, что, тогда как для немецких романтиков или английских писателей школы Анны Ретклиф фантастика тайны, кошмары и ужасы были основным элементом мировосприятия, центральным элементом миросозерцания, для Нодье все это было лишь категориями художественной игры. Поэтому он может позволить себе закончить «Inès de las Sierras» срывом фантастики и сверхъестественного, вызывая этим неудовольствие того же Брандеса. В рассказе речь идет об умершей триста лет тому назад танцовщице, которая ночью появляется в пустом замке. Но к концу выясняется, что эта танцующая, как полагается по фантастическому канону, в белой одежде танцовщица — вовсе не вставшая через триста лет из гроба покойница, а ее тезка, живая и молодая испанка.

Брандес разочарован таким финалом:

«Жаль,— пишет он,— что Нодье испортил прекрасный рассказ мелким неправдоподобным окончанием, в котором все происшествие объясняется самым здравым образом... чисто латинское поклонение разуму скрывается в этой развязке, но она, так сказать, прибавлена только для проформы» (там же, стр. 219).

Не особенно логична, разумеется, эта атака на фантастический рассказ за неправдоподобный финал, поскольку неправдоподобное есть неотъемлемое свойство фантастического. В данном случае же нападения тем более несправедливы, что совпадение имени живого человека с именем давно умершего все же более правдоподобно, чем появление танцующей покойницы. Важнее, однако, попытка Г. Брандеса свести особую манеру Шарля Нодье в области фантастики к «чисто латинскому поклонению разуму». Речь идет именно о характерной для Нодье манере, и говорить об одном

случайно «испорченном» «мелким, неправдоподобным окончанием» рассказе не приходится. На подобном же приеме придания правдоподобия необыкновенным происшествиям построен ряд произведений Нодье. Этот прием очень силен и в романе «Жан Сбогар». Сам Брандес справедливо констатирует, что «изображение романтического материала у Шарля Нодье не есть то, что мы обыкновенно называем романтическим, а, напротив, является строго аттическим, классически-простым, без особенно резко положенных красок, бесстрастным, без покрывала эдинбургского тумана, как у Вальтер Скотта, или винных паров кабаков Берлина, как у Гофмана» (там же, стр. 218).

Но эта трезвенность, «реалистичность» романтики и фантастики Шарля Нодье отнюдь не результат каких-то расовых особенностей, как утверждает Брандес, верный трем заповедям тэновского литературоведения: расе, среде, моменту.

Дело в том, что оперирование мистическим, сверхъестественным характерно преимущественно для английских и немецких романтиков, но не для французских. Объясняется это не особенностями расы, а ходом социальной борьбы в этих странах — именно тем, что французский романтизм был результатом глубочайших перемен, произведенных во французской жизни революцией, тогда как немецкий был результатом отсталости и слабости революционных сил в Германии, а английская литература тайн, «кошмара и ужаса» была выражением особых форм идеализации феодального прошлого обедневшей аристократией и некоторыми слоями буржуазии.

Фантастический элемент у Нодье сильнее, чем у кого бы то ни было из французских романтиков, потому

что, как верно констатирует Брандес, «никто из писателей Франции романтической эпохи не состоит в более тесной родственной связи с германо-английской романтикой, чем Нодье» (там же, стр. 218).

Это родство установилось на основе отмеченной выше особенности Нодье: именно — его восприятия явлений действительности как возможных мотивов литературного творчества и только.

Из этого отнюдь не следует, что творчество Нодье не было обусловлено действительностью. Нет. И оно не составляло исключения из общего правила. Литературность восприятия действительности у Нодье была особой формой реагирования на действительность, отношения к действительности. В этом смысле можно сказать, что Шарль Нодье был романтиком из романтиков. Романтики уходили из действительности. Подлинной жизни они противопоставляли ложную, выдуманную, которую они утверждали через свое творчество, не ограниченное объективной правдой. Шарль Нодье прятался от действительности в литературу. Поэтому он вносил в свое литературное творчество больше элементов фантастики, чем остальные французские романтики. Но он же непрочь был и взорвать эту фантастику, так как по существу он лучше многих романтиков знал, что все это только литература, а не действительность. Его романтика была поэтому не лишена некоторого налета скепсиса.

Откуда шел этот скепсис? Из того социального недоверия, которое, как мы раньше видели, уже в дни Империи характеризовало его группу.

Это возвращает нас к вопросу о взаимоотношениях Нодье с романтиками. Его уход от действительности в литературу сделал его одной из центральных фигур

французского романтизма. Недоверие к существующему политическому режиму,— ведь право, утверждал он, всегда на стороне побежденных,— привело к тому, что вокруг него группировались как консервативные, дворянские, так и радикальные, мелкобуржуазные романтики. Но все это могло продолжаться лишь до тех пор, пока в среде романтиков не обнажились глубокие противоречия. Когда же с приближением революции 1830 года, а тем более на другой день после нее, ранее завуалированные романтической фразой социальные разногласия выступили наружу, и консервативным и радикальным романтикам с Нодье было больше не по пути. И те и другие были воодушевлены глубокой верой в иную жизнь, между тем как у Нодье такой веры не было. Шарль Нодье не мог итти вместе с Виктором Гюго, потому что для Гюго слово было действием, а единственным действием Нодье за всю его жизнь было слово.

Но не мог он также итти и с реакционными романтиками, так как те выражали социальные тенденции погибавшей аристократии, а Нодье — тенденции рано разочаровавшейся в благотворности политических перемен и даже в какой-то мере приспособившейся к существующему, но все же мелкобуржуазной группы. Отсюда его интерес к идеям социального равенства и социальной справедливости, ярко выраженный в романе «Жан Сбогар».

В 1818 году, когда этот роман был опубликован, мотив бунтаря-аристократа, во имя справедливости оставившего свой дворец и ушедшего к социально обиженным, был уже не нов. Только не следует связывать этот образ с шиллеровскими «Разбойниками». По линии литературных влияний и созвучий «Жан Сбогар» скорее

сближается с творчеством Байрона. От Байрона его экзотика и мотив бегства от общества к нетронутому культурой народу.

Но, пожалуй, этим «байронизм» книги и ограничивается. Формально «Жан Сбогар» разработан в манере «романа тайн», а по социальной тенденции он радикальнее произведений Байрона, смыкаясь во многом с идеями мелкобуржуазных утопических социалистов. Эти идеи раскрываются не столько в действиях вельможного разбойника, который великодушен и мягкосердечен со слабыми и несправедливо обиженными, а сформулированы, главным образом, в афоризмах «Записной книжки Лотарио».

Эти афоризмы выражают глубокое разочарование в революции. Она не несет с собой никакого освобождения. Перемена власти есть лишь перемена людей, а не режима. Путь революционера рисуется здесь в таких красках:

«Человек льстит народу. Он обещает служить ему. Он достиг власти. Думают, что он немедленно потребует раздела имуществ. Не тут-то было! Он приобретает имущества и вступает в союз с тиранами для раздела народа».

То же разочарование в возможности осуществить идеалы Французской революции выражено в таком афоризме:

«Страшно подумать, что равенство — предмет всех наших желаний и всех наших революций — действительно существует только в двух состояниях человека: в рабстве и смерти».

Лотарио смутно чувствует, в чем основная причина того, что идеалы братства и равенства не были осуществлены.

«Законодатели XVIII века похожи на архитекторов Лицера, которые устремляли ввысь стены дворца, не заботясь о фундаменте».

Лотарио чувствует, что разрыв между идеалами XVIII века и действительностью — результат того, что фундамент собственности остался. Он заявляет: «Если бы общественный договор находился в моем распоряжении, я ничего не изменил бы в нем; я его разорвал бы». Он отвергает все, совершенное революцией и мыслителями XVIII века, так как все это было совершено на базе собственности, а он, в сущности, предвосхищает афоризм Прудона, что собственность — это воровство. И если в одном случае он еще называет странной мысль Ликурга, что «воровство — единственное установление, могущее поддерживать социальное равновесие», то в другой раз восклицает: «Дайте мне силу, которая осмелится принять имя закона, и я покажу вам воровство, которое примет имя собственности». Отсюда и практическая программа Лотарио — грабить богатых, так как только этим путем можно отобрать у них награбленное: «Если углубиться до первоисточников, то кража бедным у богатого окажется в конце концов только возмещением, т. е. справедливым перемещением монеты или куска хлеба, возвращающегося из рук вора в руки обворованного».

На этой основе развивается наивная философия мелкобуржуазного утопизма. Но и эту, хотя и фантастическую по содержанию, но действенную по своему социальному значению философию подавляют скептицизм, неверие и пассивность осознавшего бесполезность социальных бунтов мелкобуржуазного интеллигента. Записки кончаются покорным обращением к богу:

«Боже всемогущий, сжалься надо мною!»

«Жан Сбогар» был написан, когда романтическая школа только оформлялась. По своим социальным устремлениям эта книга могла стать исходной для мелкобуржуазных романтиков лишь на следующем этапе, когда стало ясно, что великая историческая миссия Гюго заключалась не в разрушении поэтики классиков, а в его полувековой борьбе за буржуазную демократию в эпоху, когда такая борьба была еще глубоко прогрессивна. Разрушение поэтики классиков было лишь своеобразной литературной формой этой борьбы, которая велась по гораздо более широкому фронту и имела особое значение в условиях реакции и реставрации.

Брандес пишет: «Этот маленький роман, уже преданный было забвению, всплыл на поверхность после появления «Мемуаров» Наполеона: оказалось, что император взял его с собой на остров св. Елены и там с интересом читал» (Собр. соч., т. IX, стр. 213).

В этих словах Брандес отдал дань любви европейского обывателя к наполеоновским анекдотам. Последующий интерес к «Жану Сбогару» был несравненно больше связан с возросшей популярностью утопического социализма, чем с культом Наполеона. Но сам Нодье, чуткий к литературным веяниям, оказался глухим к социально-политическим направлениям. Мотивы «Жана Сбогара» не получили в его творчестве дальнейшего развития, сыграв лишь определенную роль в популяризации литературных веяний своего времени. Этот роман, как и все творчество Шарля Нодье, был предан забвению, когда эти веяния прошли.

И. Нусинов

ЖАН СБОҒАР

ПРЕДИСЛОВИЕ

Не буду рассказывать, какие обстоятельства побудили меня издать в 1818 году роман «Жан Сбогар», написанный мною в 1812 году в местах, навеявших его. Достаточно будет мельком отметить, что я вступал тогда на очень ответственное поприще, где сделал еще только первый шаг, и что это соображение не позволяло мне поместить свое имя на заглавном листе книги. Образ действий Жана Сбогара был бы, в самом деле, дурной рекомендацией для человека, отправившегося преподавать политические науки в маленькой Татарии. И никто не удивится, что автор, узнанный, несмотря на его предосторожность, был занесен в «Индекс» вместе со своей книгой. По своевременности этого издания можно, впрочем, судить о духе корысти и способности на компромиссы ради выгоды, которые руководили мною во всех важных делах моей жизни.

На этот раз успех немного вознаградил меня за непостоянство людской благосклонности. Аноним принес мне счастье в газетах, где всегда довольно охотно терпят преходящий успех нового сочинения, когда он не влечет за собою установления репутации. Мимолетное впечатление, произведенное этим пустячком, было, впрочем, основано не на внутренних достоинствах книги. Оно вытекало из общего настроения умов, которые событиями предшествующих годов были мало-по-малу вновь приведены к доктринам свободы, а характер моего героя позволил мне выразить крайние проявления теорий, ответственность за которые я отнюдь не принимаю на себя; в то время эта ответственность была велика и, быть может, была бы в настоящее время еще больше, если бы пролетарии читали романы. Я радуюсь при мысли, что успехи цивилизации не дошли еще до этого и что мечты моего Гракха из Спалато не окажут до поры до времени большего влияния на образованное общество, чем влияние божества, которому поклонялись на улице Тэтбу.

Должно быть, однако, двухтомная моя книжица носила некоторый отпечаток мужественности, так как нашлось только одно лицо, которому сочли возможным ее приписать, а именно (прошу покорно прощения у его благородной памяти) — моему знаменитому другу Бенжамену Констану. Сотрудники повременных изданий, считавшие себя более сообразительными и введенные в заблуждение некоей

смесью любовного аскетизма и отчаянной филантропии, встречающихся в этой литературной безделушке, обвинили в этом г-жу де Крюденер, хотя она и не была мужчиной и вообще начинала в то время терять признаки пола. Я не вмешался в эту распрю, которая не могла долго продолжаться. «Адольф» и «Валерия» отвечали за своих авторов.

Но вот я подошел к истории самого блистательного из моих успехов, и здесь я не могу ошибиться, ибо не ослеплен их количеством. Я рассказываю факты, и этого достаточно, чтобы моя скромность не страдала. Кажется, я где-то сказал, что предисловие — проявление гордости. Я это охотно повторяю. Гордость это, впрочем, невинная и почти достойная нежного сочувствия, раз она основывается на шуме, вызванном маленькой книжечкой и продолжающемся ровно столько, сколько требуется для проводов ее из магазина под толчейный пест, в ожидании, пока она подвергнется новой метаморфозе в бумажной машине. Старуха Мари де Гурнэ, достойная «приемная дочь» Монтэня, превосходно выразила мою мысль в прекрасном стихе, которому могли бы позавидовать наши молодые и блестящие поэты:

«Человек — тень сновидения, а творение его — его тень».

Поистине, «Жан Сбогар» — самое большее — лишь моя тень, или же я сильно ошибаюсь относительно скромного места, занимаемого мною под солнцем.

Имя автора «Жана Сбогара» пришло в Париж с острова св. Елены. Это — не самое крупное из моих путешествий, но это — одиссея моей славы. Она никогда уже не взлетит так высоко. Наполеон, не отличавшийся вполне безошибочным литературным вкусом, что доказывается его любовью к эпическим обманам Макферсона и подделкам под Гомера Люс де Лансиваля, занимался «Жаном Сбогаром» в течение двух дней. Английские газеты возвестили миру, что он провел ночь за чтением и несколько часов за пометками на экземпляре, оставшемся, как мне часто говорили, в руках генерала Гурго. Что же касается того, что он запомнил мое имя, то, чтобы допустить это, отнюдь не обязательно приписывать ему силу памяти Цезаря, который называл по имени каждого из сорока тысяч солдат, бывших с ним на равнинах Фарсала. Если Наполеон действительно считал, как он это продиктовал своим летописцам, будто в его царствование было произведено всего только двадцать шесть арестов без судебного постановления и без ордера на арест, а лишь на основании секретного распоряжения, снабженного подписью императора, то в том числе мог бы оказаться и я. Это странное обстоятельство объясняется, к счастью, еще более естественно самым простым фактом.

Один из друзей Наполеона на св. Елене был моим другом в Париже в 1814 году и знал историю Жана Сбогара еще тогда, когда я не помышлял об ее окончании. Я горд, но

искренен. Подобное обстоятельство значительно уменьшает славу, которая выпала бы мне на долю, если бы Наполеон догадался обо мне сам; и я охотно отказался бы от этого сомнительного права на славу, если бы мог сделать это без ущерба для моего издателя.

Как бы то ни было, эта рекомендательная приписка на полях, прибывшая из высших сфер, вызвала, вероятно, на минуту толки в редакциях бонапартистских листков, где я не пользовался особым уважением. Я предполагаю, что сначала у них возник трудный вопрос: поумнел ли хоть немного автор «Жана Сбогара» или же впал в детство Наполеон? Так как мне не суждено было взвешиваться на таких весах, я чувствую некоторую неловкость, говоря об этом. Раздумывая над этим вопросом, журналисты, бывшие ловкими людьми,— что они превосходно доказали впоследствии,— сошлись на среднем мнении. Было решено, что в литературе ничего не выдумывают,— с чем я вполне согласен; что это запрещено и более чем кому бы то ни было — писателям, не состоящим членами Академии,— с чем я уже не совсем согласен,— и что всякий, осмелившийся сочинить «Жана Сбогара», будет изобличен в краже. Это решение было принято, должен сказать, единогласно. Королевский прокурор не повел следствия, а между тем дело было выигрышное!

Как раз в разгар этого спора появился Байрон на французском языке, и немедленно было замечено — так велика проницательность

недоброжелательства,— что мой бедный разбойник украден из «Корсара». Правда, «Жану Сбогару» было четырьмя-пятью годами больше, чем его вымышленному старшему брату, но таким мелочам не придают значения, когда спорят с ягненком. У критики есть хорошая сторона. Я прочел Байрона, которого дотоле едва знал, слыхав раза два или три его имя у г-жи де Сталь. Потом я часто перечитывал его с восхищением, которым он не обязан моей признательности. «Корсар» похож на много вещей, как все то, что будут писать отныне и до скончания веков. Я никак не мог найти в нем — с чем и поздравляю Байрона — ни малейшей связи с «Жаном Сбогаром». Конечно, в данном случае никак нельзя было бы сказать, что высокие умы сходятся. Будь я Байроном, я подал бы жалобу. Байрон, знавший французский язык, так же как я английский, не пожаловался. Он умер, не раскрыв ни «Жана Сбогара», ни журналов, в которых шла о нем речь,—и умер он не от этого.

Я тоже жалобы не подал. Библиография была мне кое-чем обязана. Я всегда занимался серьезно только ею, а так как ее дело выяснять даты и исправлять литературные несправедливости, то я надеялся, что она за меня отомстит, если мы с нею предстанем когда-либо перед потомством.

Как раз в то время выходил в свет, на великолепной бумаге, украшенный на заглавном листе ученым якорем Альдов, превосходный «Каталог библиотеки одного любителя». Уче-

ный и искусный автор поостерегся упрекнуть меня в том, что я обокрал Байрона; он был слишком силен в синхронизме книг и оценивал по достоинству эту чепуху, пригодную, самое большее, для эрудиции газет; но, осмеяв эту кисло-сладкую полемику и забыв, вероятно, что я в ней не участвовал, он в качестве присяжного критика все же объявил меня вором. Изменилось только имя обокраденного. Вы скажете мне, что воры не всегда знают имена людей, которых обворовывают. Но вы были бы, вероятно, в таком же затруднении, как и я, если бы вас обвинили в том, что вы обокрали Цшокке.

Это вскользь брошенное замечание — гораздо более кисло-сладкое, чтобы не сказать более кислое, чем моя полемика, о которой я никогда и не помышлял,— погрузило меня в уныние. Мое преступление оказалось занесенным в книгу, одаренную жизнеспособностью, и я оказался пойманным и изобличенным в ограблении Цшокке,— я, не желавший грабить никого в мире, в том числе и Цшокке,— я, не знавший Цшокке, хотя он был переведен Ламартельером и хотя один экземпляр означенного перевода означенного Цшокке, на веленевой бумаге, в переплете с синим сафьянным корешком, находится в библиотеке г-на Ренуара,— я, не имевший в 1812 году чести знать Цшокке, раз я не знал даже Байрона. Я всюду искал сведений о Цшокке. Ни один дьявол ничего не слыхал о Цшокке. Я начал убеждаться, что сочинение Цшокке существует только в одном

экземпляре, находящемся у г-на Ренуара среди множества других драгоценных редкостей,— когда мой добрый товарищ, г-н де Пиксерекур, сообщил мне, что Цшокке был, действительно, автором драмы, не имеющей никакого отношения к «Жану Сбогару» и переделанной им, де Пиксерекуром, в мелодраму, во сто раз лучшую, чем «Жан Сбогар» и драма Цшокке. Мне нетрудно было поверить этому, но я хотел судить с книгами в руках, до такой степени мне не хотелось — в литературной моей невинности — быть грабителем Цшокке!

Наконец я его нашел. Какое унижение, великий боже! Прежде всего, мой герой называется Жан Сбогар, герой же Цшокке — Абелино, а мой ученый собрат из древней кельтической Академии Элоа Жоанно докажет вам, если вы пожелаете, что это буквально одно и то же. Во-вторых, Абелино — важный барин, выдающий себя за разбойника, а Жан Сбогар — разбойник, выдающий себя за важного ба́рина. Плагиат становится ощутительным. В-третьих, Абелино женат на самой богатой наследнице Республики, а Жан Сбогар отказывается жениться на любимой им девушке из боязни запятнать ее своим позором. Плагиат очевиден. В-четвертых, Абелино спасает свою страну, нарушая клятвенное обещание, данное им разбойникам, а Жан Сбогар, видящий в будущем только свободу или эшафот, идет на смерть со своими дружинниками. Здесь наглость воровства доходит до бесстыдства. Наконец, оба действия происходят в Венеции,

где никогда никому не приходила мысль отводить место романическому действию,— и вот вы уже как бы хватаете мою руку в кармане Цшокке.

Я очень чувствителен к литературной критике, содержащей в себе моральные вопросы. Мне не пришлось иметь дело с Цшокке, но мне казалось, что все могут, при виде меня, сказать: «Вот — плагиатор Цшокке». Я узнал, что Цшокке был одним из тех великих талантов, которые не часто встречаются на пути славы, а я на этом пути был вполне уверен в своем алиби; но это меня не успокаивало. Мне являлись призраки в виде Цшокке и Абелино. У меня были кошмары в виде Цшокке и Абелино. Я был болен ими и спасся только благодаря сознанию своей невиновности. Действительно, у меня, в глубине несправедливо заподозренной совести, было в запасе великое утешение, что мне незачем было заимствовать ни у кого Жана Сбогара, так как мне случайно выпало на долю преимущество, вероятно, мало завидное, а именно — личное знакомство с ним.

Пока я раздумывал об этом, случилась очень странная вещь: мою книгу забыли, точно она никогда и не появлялась. Пришлось отложить свою защиту до третьего издания. В настоящее время, когда снова появляется «Жан Сбогар» и когда о нем, быть может, поговорят до завтра, я считаю себя обязанным заявить, что никто в мире не имеет права приписывать мне плагиат в этом деле, кроме, быть может, регистратора уголовного лайбахского суда в

Крайне, почтенного г-на Репизича, дававшего мне, в свое время, дела текущего судопроизводства для исправления в них некоторых ославяненных германизмов, так как он опасался, как бы не провиниться этим в пылу составления протокола. Кроме того, я торжественно заявляю, что все, взятое мною из его дел, сводится к нескольким фактам, которые я не мог бы лучше выдумать, будь я самим Цшокке, и что нет ничего в моем сердце, что упрекало бы меня в недобросовестном отношении хотя бы к единственному обороту стиля г-на Репизича, так как этот добряк горой стоял за классическую форму протокола, которая не совпадает с формой романа.

В Истрии, Кроации, Далмации, если вы возьмете на себя труд навести соответствующие справки, вам скажут, что я не сделал большого умственного усилия, чтобы выдумать имя Жана Сбогара. Мое главное действующее лицо называлось или заставляло себя называть Жаном Сбогаром, и я полагаю, что маленькие дети с берегов Триестского залива еще могли бы вам подтвердить это, как и я, ибо имена разбойничьих атаманов обладают той же привилегией, что и имена завоевателей: их помнят всюду, где они прошли. Председателем судебной палаты, осудившей его, был граф Спалатен. Судьями, которых я припоминаю, были г-н Купфершейн и г-н де Жисклон. Высокие функции прокурорского надзора отправлялись, со всей мощью молодого и проник-

новенного таланта, г-ном Декло, имперским генеральным прокурором, занимающим теперь выдающееся место среди адвокатов кассационного суда; он охотно защитил бы меня, если бы я нуждался в его помощи, в последней инстанции против злобного обвинения в заимствовании Жана Сбогара из трагедии Шокке. Он знает, что я его нашел совсем готовым.

На суде Жан Сбогар выделялся только выражением лица, сверхчеловеческие черты которого были его отличительным признаком и напоминали, по выражению Шиллера, ангела, демона и бога. Моральная цель его защиты состояла в том, чтобы умереть под безвестным именем простого морлацкого искателя приключений, скрыв свое тождество с человеком, поразительно похожим на него, бесчестье которого оскорбило бы и запятнало все его дружеские и любовные связи. Он отвечал на вопросы судей по-сербо-хорватски, лишь утвердительно или отрицательно, и если чуть было не выдал себя, то лишь при объявлении смертного приговора, прочитанного на французском языке и каравшего в его лице только простого разбойника... Надвигалась ночь, так что пришлось принести факелы. Я стоял возле его скамьи; я заметил, что он слушает язык, которого якобы не понимает, и что искра радости засветилась в его глазах, когда он смог разобрать по тексту приговора, что вердикт не касается фактов, относящихся к псевдонимам, под которыми он действовал в Германии и

Италии. Этот светившийся счастьем взор уловил вероятно, только я, ибо о нем на суде не поднималось вопроса. Вот почему я написал повесть, озаглавленную «Жан Сбогар».

Осуждение Жана Сбогара стало предусмотренным законом фактом, которому нехватало только материальной санкции кровавого исполнения; но кокетливый церемониал нашего филантропического свода законов требовал аппарата, неизвестного в той стране. Поэтому Жану Сбогару пришлось безропотно покориться и с вожделением ждать в своем каземате дня избавления, когда плотнику города Аргонавтов удастся воздвигнуть на подмостках два длинных параллельных столба и когда корниоланский кузнец согласится приладить нож, способный отрубить голову человека. Попытки оказались столь неловкими и столь неудачными, что, вероятно, заставили государственных людей отчаяться в возможности цивилизовать Иллирию. Во всяком случае мы покинули эту страну несколько месяцев спустя, мало доверяя способности покоренных народов к совершенствованию. Мы не оставили ей даже гильотины!

Когда вынесенный приговор избавил Жана Сбогара от единственной тревоги, способной смутить его сон, он сделался общительней и охотно открылся людям, которые, по его мнению, заслуживали некоторого доверия, особенно когда они дали ему еще нерушимую в то время клятву карбонариев. Вот тогда-то я его видел два или три раза; он стоял не-

сравненно выше того Жана Сбогара, которого я попытался изобразить, и, может быть, выше всех типов того же склада, изображенных в романе и поэзии, от атамана Роке Гинарта Сервантеса до Карла Мора из «Разбойников». Он изящно, а порою и краснюречиво, говорил на французском, итальянском, немецком, новогреческом языках и на большинстве славянских наречий. Несколько фраз, политически весьма еретичных, из которых я составил его «записную книжку», заимствованы с величайшей точностью из его разговоров. Я прибавлю только несколько черт к его портрету для читателей, желающих все знать и не прощающих романисту отступления от истории даже в мельчайших подробностях. Но невозможно угодить всем вкусам. Разве не было у меня споров с женщинами оттого, что я оставил ему серьги в ушах?

У Жана Сбогара волосы не были золотисто-белокурыми, придающими грациозным головам севера и запада еще больше живописной прелести. Они несколько отливали медно-красным оттенком, очень ценимым на севере Италии, но немодным в Париже, и прелесть его мне тем труднее объяснить, что ради единственного пришедшего в голову сравнения мне пришлось поступиться условностями языка. Это сравнение не передает оттенка волос, переливающихся на свету всеми отблесками десяти металлов, перемешанных в доменной печи, с мгновения, когда металлы эти, пылая, переливаются через ее края, до той минуты,

когда, остывая, они начинают чернеть. Некоторое представление о прихотливости красок этих густых и развевающихся прядей мог бы составить себе тот, кто наблюдал извержение вулкана от начала до конца. По странной причудливости природы усы и борода, которые он отпустил в каземате, были черны, как вороненая сталь.

Привычка к верховой езде заметно согнула ноги Жана Сбогара, но корпус его был так широк, особенно в плечах, что представлялось естественным, что ноги согнулись под такой тяжестью. Шея его, напротив, казалась чрезвычайно хрупкой, быть может, благодаря своей длине. Он подшучивал с ужасающей веселостью над этим преимуществом своего сложения, и эта страшная шутка была такова, что я не хочу писать о ней, а предпочитаю, чтобы читатели догадались сами.

При описании примет Жана Сбогара нельзя было обойти его белой, нежной и женственной руки, действительно необыкновенно контрастировавшей с остальными его формами — стройными, но крепкими и почти атлетическими. Я не видывал более красивой руки. Глядя на нее, можно было бы подумать, что она способна выдержать, самое большее, тяжесть четырнадцати драгоценных камней, украшавших ее в день его ареста и оцененных в восемьдесят тысяч франков, а стоивших, вероятно,— при всем уважении к эксперту-ювелиру — еще дороже. Если бы довелось увидеть ее из-под рукава венецианского домино, ни-

когда нельзя было бы предположить, что она способна держать шпагу, а тем более ловко действовать ею во главе эскадрона. Между тем, если бы ей захотелось, она могла бы раскрошить перекладины, запоры, решетки, железные ворота.

Портрет Жана Сбогара был бы неполным, если бы я не отметил в нем одну важную психологическую черту — царственную горделивость, проявлявшуюся во всем его существе: в его осанке, его позах, его властном взгляде, в презрительной усмешке, в громком, резком и повелительном разговоре и особенно в той жесткой и грозной складке, которая появлялась у него между бровями, вилась бороздой, ломалась острыми углами и скрещивалась, так сказать, молниями при малейшем прекословии. Это свирепое проявление деспотической воли было бы отвратительно с высоты трона, но не могу выразить, до чего величественным было ее выражение у осужденного, лежавшего на соломе среди подобострастных тюремных надзирателей, которые окружали его словно камергеры и принимали, как милость, распоряжения несчастного, только что отданного правосудием в руки палача.

Однажды ночью ворота тюрьмы отворились по независящим обстоятельствам, не имеющим решительно никакого отношения к Жану Сбогару и его шайке и о которых я расскажу, может быть, в другом месте, если к этому представится случай и если публике не наскучит меня слушать. Все заключенные бе-

жали; смотритель исчез, его помощники разбежались. На восходе солнца все выходы были свободны. Жан Сбогар вышел последним; он скрыл в безопасном месте старуху, которой вместе с ним был вынесен приговор и которую обвинение выставляло его матерью; отправился за своей лошадью на постоялый двор в предместье Кракова, где он ее оставил; приказал дать ей овса; поехал по истрийской дороге и заночевал в Адельсберге. Два дня спустя он был окружен в старинной дуинской развалине, а остальное произошло так, как я рассказал, или приблизительно так, ибо я не думал, что роман должен придерживаться точности газеты, и всякий, кто знает толк в этого рода сочинительстве, не удивится, что я устранил излишний лайбахский эпизод, невзирая на его перипетии, чтобы поскорее притти к мантуанской развязке. Там именно умер Жан Сбогар на эшафоте, который, говорят, выпил за шесть месяцев кровь тысячи его дружинников, чему трудно поверить и за что я не ручаюсь. В Мантуе ни плотники, ни кузнецы никогда не уклонялись от призыва властей, когда дело шло о приготовлениях к казни. Официальный инструмент юридического убийства сохранился там по традиции, с незапамятных времен, как и в большей части Италийского полуострова. Это достаточно доказывает любителям средневековых памятников и гуманитарных наук одна из восхитительных гравюр, которою Боназоне украсил в Болонье, в 1555 году, скучную дворянскую грамоту Ахилла Бокки, эк-

земпляры которой, подправленные в 1574 году Агостино Карраччи, недооцениваются библиофилами. Пусть стремление к совершенствованию говорит и делает все что угодно: гильотина — не его изобретение!

Подробности, о которых я только что упомянул, не всюду неизестны. Г-н Персиваль Гордон, взявший на себя труд перевести «Жана Сбогара» на английский язык с первого издания, заявляет в своем предисловии 1820 года, что Жан Сбогар — историческое лицо, авантюрист, славой которого еще полны Венецианские Провинции. По крайней мере, не в Англии обвинили меня в мошенническом подражании английской поэме, пользующейся там достаточной популярностью,— и это меня утешает.

Мне остается только сказать о том, чем будет отличаться это издание от предшествующих, а это скорее дело издателя, чем мое. Исправлений внесено довольно много. Они были бы бесчисленны, если бы у меня хватило духу внимательно перечитать то, что я написал двадцать лет тому назад. Легко понять, что приходится оставить много ошибок в книге, когда не властен уничтожить ее всю целиком. Бог мне свидетель, что в этом — единственное преимущество, о котором меня заставляют сожалеть в настоящее время несчастные случайности моей судьбы, втянутой в крушение более грандиозное и более памятное, чем мое. Plectuntur Achivi.

«Записная книжка» пополнена несколькими страницами, которые были уничтожены моими

друзьями в первоначальной рукописи в порыве политического благоразумия, мотивы которого от меня полностью ускользают, ибо я не нахожу эти страницы более безрассудными и более неистовыми, чем остальные. Известно, что̀ я о них думаю и почему я их печатаю.

Самое существенное, что вытекает из этих длинных и скучных разглагольствований, это то, что «Жан Сбогар» — не Байрона, не Шокке, не Бенжамена Констана, не г-жи де Крюденер, что он — мой. И это очень важно отметить к чести г-жи де Крюденер, Бенжамена Констана, Байрона и Шокке.

1832 г.

I

Увы! что̀ наша жизнь, где никогда нет недостатка в горестях и бедах, где все полно козней и врагов. Ибо едва опорожнится чаша страдания, как уже наполняется вновь; и не успеешь одолеть одного врага, как̀ являются другие, чтобы биться на его месте.

„Подражание Христу"

В некотором отдалении от Триестского порта — если итти песчаным морским берегом по направлению к зеленеющей бухте Пирано —

находится небольшой, давно заброшенный скит, воздвигнутый некогда во имя св. Андрея и сохранивший до сих пор его имя. Побережье, постепенно суживающееся к этому месту,— где оно словно теряется между подножьем горы и волнами Адриатического моря,— выигрывает в красоте по мере того, как теряет в ширине; почти непроходимая роща смоковниц и дикого винограда, листву которых поддерживают в состоянии вечной зелени и молодости освежающие испарения залива, окружает со всех сторон эту обитель созерцания и таинств.

Когда погаснут сумерки и поверхность моря, покрывшись легкой рябью от спокойного дыхания ночи, начнет колыхать колеблющееся отражение звезд,— покой и безмолвие этого уединенного места приобретают очарование, которое невозможно выразить словами. Лишь с трудом можно уловить тихий шорох волн, умирающих на песке, ибо благодаря своей непрерывности этот шорох становится похожим на какой-то бесконечный вздох; изредка факел, странствующий по горизонту в невидимом челноке рыбака, бросает на волны бороздку света, то расширяющуюся, то уменьшающуюся, в зависимости от движения воды; вскоре она исчезает за песчаной мелью, и все снова погружается во тьму. В этой прекрасной местности чувства, совершенно праздные, не рассеивают сосредоточенности души, и она беспрепятственно овладевает пространством и временем, точно они для нее уже не заключены больше в тесные пределы жизни; и человеку, чье

сердце, полное бурь, дотоле открывалось для одних лишь мятежных и беспорядочных чувств, случалось познавать, остановившись в обители св. Андрея, счастье глубокого, незыблемого и ничем не нарушаемого покоя.

Близ этого места в 1807 году возвышался замок простой, но изящной архитектуры, исчезнувший во время последних войн. Местные жители называли его на итальянский лад Каза Монтелеоне, по имени французского эмигранта, его владельца, который тогда только что умер, оставив громадное состояние, приобретенное коммерцией. В замке еще жили его две дочери. Его зять и компаньон, г-н Альберти, простой промышленник, был унесен чумой в Салониках. Несколько месяцев спустя г-н де Монлион потерял жену,— мать своей второй дочери; г-жа Альберти была от первого брака. От природы склонный к грусти, он совсем предался ей со времени этого последнего несчастья. Мрачная тоска снедала его, и даже ласки двух дочерей не были в состоянии его развлечь. То, что оставалось у него от прошлого счастья, только горько напоминало ему об утратах. Слабая улыбка вернулась на его уста лишь при приближении смерти. Когда он почувствовал, что сердце его леденеет,— его омраченный тоскою лоб прояснился на мгновение; он взял руки своих дочерей, поднес их к губам, произнес имена Люсили и Антонии и испустил дух.

Г-же Альберти было в то время тридцать два года. Это была чувствительная женщина,

но чувствительности спокойной и несколько строгой, недоступной порывам и увлечениям. Она много страдала, и ни одно из тягостных впечатлений жизни не изгладилось совершенно из ее души; но она хранила эти воспоминания, не питая их намеренно. Она не делала из скорби главного своего занятия, не отвергала чувств, которые способны вновь связать некоторыми узами тех, чьи самые дорогие узы уже разбиты. Она не хвасталась мужеством покорности; оно было у нее инстинктивным. К тому же очень подвижное воображение, легко возбуждаемое множеством различных причин, делало ее способной поддаваться развлечениям и даже искать их. Будучи долгое время единственной дочерью и единственным предметом забот своей семьи, она получила блестящее воспитание. Но привычка покоряться без сопротивления обстоятельствам отучила ее от рассуждений, благодаря чему она расценивала все не столько рассудком, сколько воображением. Не было человека менее экзальтированного и, тем не менее, не было человека более романтического; но это объяснялось недостаточным знанием света. Наконец, прошлое было так жестоко к ней, что она не могла уж надеяться на счастливую жизнь; однако ее здоровая натура равным образом предохраняла ее и от полного несчастья. Потеряв отца, она стала смотреть на Антонию, как на дочь. У нее не было детей, Антонии же только что исполнилось семнадцать лет. Г-жа Альберти решила заботиться об ее счастье; это было

ее первой мыслью, и эта мысль смягчила горечь остальных. Отвращения к жизни г-жа Альберти никогда не могла бы понять, пока чувствовала возможность приносить пользу и быть любимой.

Мать Антонии умерла от чахотки. Антония не была похожа на пораженную этим — зачастую наследственным — недугом. Но, казалось, она почерпнула из груди, где уже обитала смерть, лишь хрупкую и несовершенную жизнь. Тем не менее, она была крупной и для своего возраста достаточно развитой; только в ее высоком и тонком стане было что-то беспомощное, говорящее о слабости. Ее изящная и полная прелести головка, немного склоненная к плечу; светлорусые, небрежно подобранные волосы; цвет лица ослепительной белизны, чуть-чуть оживленный легким оттенком нежного румянца; немного затуманенный взор, который природная слабость зрения делала застенчивым и пугливым и который становился неопределенным и печальным, когда искал отдаленные предметы,— все в ней говорило о привычном состоянии томления и страдания. Но она не страдала; она жила неполной жизнью и как бы с некоторым усилием. Привыкнув с детских лет к самым острым переживаниям, она все же не притупила в этой школе скорби своей чувствительности и не сделалась недоступной менее глубоким волнениям. Напротив, она переживала их все с одинаковой силой. Казалось, что ее сердце способно только на одно чувство, до сего времени безраздельно

владеющее им, и что все, что она испытывает, лишь напоминает ей все ту же скорбь об утрате матери и отца; поэтому малейший повод пробуждал в ней роковую способность отзываться на чужое горе. Все, что могло вызвать в ее воображении эту цепь печальных мыслей, исторгало у нее слезы или поражало ее внезапным содроганием. Эта дрожь повторялась так часто, что врачи рассматривали ее как недуг. Антония же, зная, что дрожь эта прекращается вместе с вызвавшей ее причиной, не разделяла их беспокойства; но она рано вывела из этого обстоятельства, равно как из некоторых других, заключение, что в ее существе есть какая-то особенность. От заключения к заключению, она пришла к мысли, что она до некоторой степени обездолена природой. Это убеждение до такой степени увеличило ее робость и в особенности ее склонность к уединению, что стало беспокоить г-жу Альберти, тревожившуюся легко, как все те, кто любит.

Они обыкновенно шли гулять по берегам залива и доходили до первых дворцов, знаменующих вступление в Триест. Отсюда взоры их простирались на море и на несколько более или менее отдаленных пунктов, которые ускользали от зрения Антонии, но которые она ясно представляла себе благодаря рассказам г-жи Альберти. Не было дня, чтобы сестра не вела с нею беседы о великих воспоминаниях, населяющих эту поэтическую страну: об Аргонавтах, посетивших ее, об Япиге, который дал

свое имя ее жителям, о Диомеде и Антеноре, составивших для них законы.

— Можешь ли ты,— говорила она,— обведя взором горизонт и миновав отдаленную темно-синюю черту, которая отделяется от более светлой лазури неба, различить башню, вершина которой отражает солнечные лучи? Это — башня могущественной Аквилеи, одной из древних цариц мира. От нее осталось лишь несколько руин. Недалеко оттуда протекает река, которую отец показывал мне в детстве,— Тимав, воспетый Вергилием. Эта цепь гор, увенчивая Триест, поднимается почти отвесно над его стенами и развертывается, начинаясь у поселка Обскина, вправо от нас, на неизмеримое пространство; она служит убежищем множеству народов, прославленных в истории или интересных своими нравами. Вон там живут храбрые тирольцы, суровый дух, отвага и честность которых тебе всегда нравились. Здесь — приветливые крестьяне-фриульцы; их пастушеские пляски и веселые песни распространились по всей Европе. Ближе к нам ты, вероятно, видишь, немного повыше портовых мачт, над крышами лазарета, часть горы, которая бесконечно мрачнее и много выше остальных; гигантский и мрачный вид ее внушителен и страшен. Это — мыс Дуино. На вершине его расположен замок, зубцы которого я различаю отсюда; молва говорит, что он построен во времена вторжения варваров. Народ до сих пор называет его дворцом Аттилы. В эпоху гражданских войн в Италии Данте, изгнанный

из Флоренции, искал в нем пристанища. Утверждают, что это зловещее обиталище внушило ему план его поэмы и что именно там принялся он за изображение ада. Затем в замке жили поочередно то вожаки партий, то воры. Боюсь, что в наш век, когда все обесцвечивается, он достался в удел какому-нибудь мирному владельцу, который выжил злых духов из его грозных башен, чтобы поселить в них голубей.

Таково бывало чаще всего содержание бесед г-жи Альберти с сестрой, которой она старалась мало-по-малу внушить желание видеть новые предметы, в надежде на благотворное отвлечение ее от обычных мыслей. Но характер Антонии не был достаточно упорным, чтобы долго следовать влечению любознательности. Она была слишком слаба и слишком не доверяла самой себе, чтобы осмелиться возыметь какое-либо желание, не считаясь со своими силами, а так как чувство подавленности казалось ей естественным, то она и не помышляла освободиться от него. Требовалось нечто другое, нежели простое любопытство, чтобы вызвать ее на это. В мире она знала лишь гробницу своих родителей и не подозревала, что в нем можно искать что-либо иное, кроме нее.

— Но ведь Бретань,— говорила ей г-жа Альберти,— Бретань — твое отечество.

— Не там они умерли,— отвечала Антония, обнимая сестру,— и воспоминание о них живет не там.

II

Это — страшные люди; жажда крови не дает им сомкнуть глаза в самые долгие зимние ночи; они способны задушить молодую новобрачную, лишь бы завладеть ее жемчужным ожерельем.

Гондола

Истрия, поочередно занимаемая и покидаемая армиями различных народов, наслаждалась тогда одним из тех моментов бурной свободы, которую слабый народ вкушает между двумя завоеваниями. Законы не вступили еще вновь в силу, и бездействовавшее правосудие не карало еще преступлений, совершению которых способствовала революция. В эпоху великих

политических смятений знамя разбоя обеспечивает своего рода безопасность; знамя это может сделаться государственным и мировым, и даже люди, считающие себя добродетельными, уважают его из предосторожности. Многочисленные беспорядочные полчища, поднятые во имя национальной независимости почти без ведома королей, приучили граждан к набегам вооруженных шаек, беспрестанно спускавшихся с гор и рассыпавшихся затем по всему побережью залива. Почти все они были воодушевлены самыми благородными чувствами и руководились самым беззаветным самоотвержением; но за их спиной образовался грозный для правительств и всеми порицаемый союз тех буйных людей, для которых политические беспорядки являются лишь предлогом. Будучи решительным врагом общественных сил, союз этот открыто стремился к разрушению всех существующих установлений. Он провозглашал свободу и счастье, но шел в сопровождении пожаров, грабежей и убийств. Десять дымящихся деревень уже свидетельствовали об ужасных успехах «Братьев Общего Блага». Так называла себя кровавая шайка Жана Сбогара, до того, как перешла границы всякой благопристойности и стала нарушать все законы.

Разбойники появились в Санта-Кроче, Обскине, Матэрии. Уверяли даже, что они заняли замок Дуино и что от подножия этого мыса бросаются они под покровом ночи, словно голодные волки, на все побережье залива, неся

опустошения и ужас. Испуганное население вскоре устремилось в Триест. Особенно замок Каза Монтелеоне не представлял собою надежного убежища. Распространился слух, будто видели самого Жана Сбогара блуждающим во мраке под стенами замка. Молва наделила его чудовищной и страшной внешностью. Уверяли, что целые батальоны в ужасе отступали перед одним его видом; что он не был простым крестьянином из Истрии или Кроации, как большинство сопровождающих его искателей приключений. Чернь сделала его внуком знаменитого разбойника Социвиски, а люди из общества говорили, что он потомок Скандербега, этого Пирра современных иллирийцев. Простонародье, всегда влюбленное в чудеса, украшало его историю самыми странными и разнообразными подробностями; но все сходились на том, что он неустрашим и беспощаден. В короткое время имя его приобрело популярность старинного предания, и на образном языке народа, у которого представления о величии и могуществе неразрывно связываются с почтенным возрастом, он стал называться «Старым Сбогаром», хотя никто не знал, сколько лет пронеслось над его головой, и ни один из его дружинников, попавших в руки правосудия, не мог дать о нем ни малейших сведений...

Г-жа Альберти, склонная благодаря своему легко возбуждаемому воображению быстро воспринимать самые необычайные мысли, стала думать о Жане Сбогаре с тех пор, как имя

этого человека впервые поразило ее слух; и вскоре она поняла необходимость покинуть Каза Монтелеоне и переехать в Триест. Но она скрыла свои соображения от Антонии, опасаясь ее чрезмерной чувствительности. Антония слыхала рассказы о «Братьях Общего Блага» и об их атамане. Когда рассказ о них доходил до нее, она оплакивала преступления, в которых они были повинны, но впечатление это оставляло слабый след в ее уме, потому что она плохо понимала злодеев; казалось, она избегала думать о них, чтобы не быть вынужденной их ненавидеть, ибо чувство ненависти превосходило меру ее сил.

В местоположении Триеста есть что-то грустное, от чего сжалось бы сердце, если бы воображение не отвлекалось великолепием прекраснейших зданий и богатством растительности. Местность эта первоначально представляла собой скат бесплодной скалы, омываемой морем. Но, благодаря усилиям человека, здесь стали родиться самые драгоценные дары природы. Зажатая между необъятным морем и неприступными высотами, она являлась подобием темницы; искусство, победив почву, превратило ее в прелестнейший уголок. Здания, тянущиеся амфитеатром от порта до трети подъема горы, расположенные за ними ступенями фруктовые сады невыразимой прелести, дивные каштановые рощи, поросли смоковниц, гранат, мирт, жасмина, наполняющего воздух благоуханием, и над всем этим суровые вершины Иллирийских Альп — напоминают путе-

шественникам, проезжающим этим заливом, изысканность коринфской капители. Это — корзина свежих как весна цветов, покоящихся под скалой. В этом восхитительном, но замкнутом в своих границах уединении ничем не пренебрегли, чтобы умножить приятные впечатления. Природа наделила Триест небольшим леском зеленых дубов, сделавшимся местом услады. На местном языке его называют Фарнедо, то-есть Рощицей.

Никогда божества полей, излюбленной страной которых являются счастливые берега Адриатики, не производили на менее обширном пространстве больше пленительных красот. Ко всем очарованиям рощицы присоединяется еще прелесть уединения, ибо жителя Триеста, занятого отдаленными деловыми расчетами, больше тянет к широким и безграничным, как надежда, видам. Стоя на краю мыса и вооружившись подзорной трубой, деловой триестец любит отыскивать на горизонте далекие паруса; от Фарнедо же моря не видно.

Г-жа Альберти часто водила туда Антонию, потому что там только она могла найти картину мира, чуждого тому, в котором до сих пор жила ее питомица, и способного пробудить в ее юном воображении жажду новых впечатлений. Фарнедо кажется пылкой душе отстоящим за тысячу лье от городов. И г-жа Альберти старалась развить в Антонии чувство беспредельности, смягчающее преходящие впечатления, делающее их менее длительными и менее опасными. У г-жи Альберти был уже достаточный

жизненный опыт, чтобы знать, что быть счастливым — значит не что иное, как развлекаться.

К тому же празднества, устраиваемые в дубовой рощице, представляли для г-жи Альберти заманчивую прелесть. Воспитанная как мужчина, из которого хотят сделать мужчину образованного, она знала поэтов и часто мечтала об аркадских и сицилийских плясках, столь привлекательных в их стихах. Она припоминала их, глядя на истрийского пастуха в развевающейся легкой одежде, обвешанной множеством бантиков и лент, в широкополой шляпе, увенчанной букетами цветов, и любовалась на то, как приподнимает он мимоходом и снова опускает на траву девушку, голова которой покрыта кисеей, и как неузнанная девушка ускользает от него и теряется в другой группе, среди похожих на нее подруг.

Иногда среди танцующих внезапно раздается голос какого-нибудь искателя приключений с Апеннин, поющего несколько строф из Ариосто или Тассо о смерти Изабеллы или Сафронии. У этого народа, радующегося каждому своему чувству и гордого всеми своими заблуждениями, видения поэта становятся властными, требующими слез. Однажды, когда Антония под руку с сестрой проникла в середину такого кружка, она была остановлена звуком незнакомого ей инструмента. Приблизившись, она увидела старика, равномерно проводившего грубым смычком по своеобразной гитаре, снабженной одной единственной струной из конского волоса, и извлекавшего из

нее хриплый и однообразный звук, очень хорошо подходивший к его степенному и мерному голосу. Он пел славянские стихи о бедствиях несчастных далматов, которых нищета погнала из страны. Он импровизировал жалобы о разлуке с родной землей, пел о красотах милых деревень счастливого Макарска, об античном Трао, о Курцоле с его сумрачной тенью, о Керсо и Оссеро, где Медея разбросала некогда части растерзанного тела Апсирта, о прекрасном Эпидавре, сплошь заросшем розовыми лаврами, и о Салоне, которую Диоклетиан предпочел столице мира. Вокруг старика, зрители, сначала взволнованные, затем растроганные и приведенные в восторг, теснились, рыдая, ибо в нежной и подвижной душе истрийца сочувствие быстро переходит в чувство, а чувство — в страсть. Некоторые издавали пронзительные вопли, другие прижимали к себе жен и детей. Находились и такие, которые целовали песок и перетирали его зубами, словно им также грозило изгнание из отечества. Удивленная Антония медленно приблизилась к старику и, поглядев на него вблизи, заметила, что он слеп, как Гомер. Она взяла его руку, чтобы положить в нее просверленную серебряную монетку, зная, что это драгоценный подарок для бедных морлаков, украшающих монетами прическу своих дочерей. Старый поэт схватил ее за руку и улыбнулся, поняв, что это молодая женщина. Тогда, внезапно меняя лад и песню, он принялся прославлять сладость любви и обаяние

молодости. Он уже не аккомпанировал себе на гуслях, но придал своим стихам гораздо больше пылкости, собрав для этого все свои силы, как человек, у которого помутился рассудок от опьянения или бурной страсти. Он топал ногами, с силою привлекая к себе испуганную Антонию.

— Цвети! Цвети,— восклицал он,— в душистых рощах Пирано, среди триестских виноградников, благоухающих розами! Сам жасмин, украшение наших кустов, гибнет и роняет свой маленький цветок, прежде чем тот успеет распуститься, если ветер занесет его семя на отравленные равнины Неретвы. Так и ты засохло бы, молодое растеньице, если бы росло в лесах, подчиненных владычеству Жана Сбогара!

III

Холмы внемлют звуку этого грозного голоса; черные скалы и рощи дрожат от него. Народ, предупрежденный в сновидениях об опасности, бежит через вереск и зажигает сигналы тревоги.

Оссиан

Медленно возвращалась Антония в город, опершись на сестру, молчаливая и задумчивая. Имя разбойника в первый раз зародило в ее сердце чувство опасения за самое себя и смутное беспокойство за свое будущее. Ей случалось и раньше думать об участи несчастных, попавших в руки разбойников, но никогда не

приходила в голову мысль, что та же судьба может быть суждена и ей. Теперь же вдохновенное пение старого морлацкого певца поразило ее ужасом и подало мысль о возможности этого страшного несчастья среди других случайностей, грозящих в жизни. Но мысль эта была настолько лишена смысла и опасность так далека от всякой вероятности, что Антония, ничего не скрывавшая от г-жи Альберти, все же не решилась доверить ей причину своей тревоги. Только теснее прижалась она к ней в ознобе, который еще больше усиливался под влиянием поздней ночи, безмолвия, одиночества и жуткого шороха, исходившего время от времени из чащи леса.

Тщетно г-жа Альберти старалась отвлечь мысли сестры от чувств, которые, казалось, владели ею. Она не знала, что̀ именно могло волновать Антонию, и случайно выбрала для разговора тему, которая оказалась как раз наиболее пригодной, чтобы поддержать это волнение.

— Какая мрачная слава у этого Жана Сбогара,— сказала она,— как прискорбно сосредоточивать на себе внимание людей такою ценою!

— И кто знает,— отозвалась Антония,— не это ли безрассудное желание привлечь всеобщее внимание породило столько заблуждений и столько преступлений? Впрочем,— добавила она, может быть, с тайным намерением ободрить самое себя,— без сомнения, многое преувеличено в том, что о нем рассказывают. Я склонна думать, что мы немного клевещем

на людей, именуемых злодеями, и мое представление о благости божьей плохо вяжется с возможностью такой чудовищной испорченности.

— Твое доброжелательное сердце вводит тебя в заблуждение,— возразила г-жа Альберти.— Действительно, абсолютное зло противоречит той правильной идее, которую мы составляем себе о безграничной благости творца и о совершенстве его творений. Но он, несомненно, считал зло необходимым для гармонии, так как заложил его во все, что вышло из его рук, наряду с добром и красотою. Почему бы ему не заронить и в общество несколько хищных и страшных душ, у которых на уме одна лишь смерть, подобно тому как пустил он в пустыни лютых тигров и пантер, которые пьют кровь животных и никак не могут утолить ею свою жажду? Хотя он — источник всякого добра, он все же захотел допустить зло в нравственном мире; но разве не придал он отвратительных форм некоторым явлениям в мире физическом, хотя он — источник всякой красоты и облек свои творения, когда пожелал, такой привлекательностью? Не заметила ли ты, что он любит придавать печать самого отвратительного безобразия существам злым и опасным? Помнишь белого как снег ястреба, которого один из клиентов отца привез с Мальты? Внешность этого ястреба не представляет ничего неприятного: напротив, нет ничего изящнее и чище его оперения. Когда видишь его со спины на каком-нибудь

надгробном камне на кладбище, где он устраивает себе жилье, хочется подойти к нему и получше его разглядеть. Когда же он повернется, подпрыгивая на тощих ногах, и уставится на тебя глазами, полными кровавого огня и окруженными широкой пленкой трупного цвета, словно маской привидения,— тебя охватывает дрожь ужаса и отвращения. Я убеждаюсь в том, что у всех злодеев, кто бы они ни были, под самой привлекательной внешностью можно с первого взгляда отыскать явственную печать отверженности, которую бог наложил, создавая их для преступления.

— Значит,— сказала Антония, силясь улыбнуться,— твое воображение наделяет не особенно привлекательными чертами атамана «Братьев Общего Блага»? У тебя, должно быть, странное представление о красоте Жана Сбогара.

Г-жа Альберти, с чрезвычайной легкостью представлявшая себе все, что поражало ее мысль, и тотчас же сочинившая себе образ самого свирепого разбойника, собиралась ответить сестре, как вдруг шум ускоренных шагов послышался позади них, на повороте дороги.

Уже совсем стемнело, и все гуляющие давно вернулись на хутора, которыми тут и там усеян амфитеатр гор. Сестры, находившиеся под впечатлением мрачных картин, только что прошедших перед их воображением, остановились дрожа. Они прислушивались, не двигаясь с места и затаив дыхание. Привлекательный, ме-

лодичный голос, один из тех голосов, что обладают даром убаюкивать заботы, переносить душу в более спокойные области, в более совершеннную жизнь, сменил их душевное смятение приятным чувством.

То был молодой человек; об этом можно было судить по нежности и свежести его голоса. Он был закутан в короткий венецианский плащ, на голове у него была высокая шляпа с развевающимся султаном; он проходил повыше тропинки, или, вернее, перелетал со скалы на скалу, словно ночной призрак, повторяя припев старого певца:

— «Если бы росло ты, молодое растеньице, в лесах, подчиненных владычеству Жана Сбогара, жестокого Жана Сбогара...»

Взобравшись на более высокую скалу, белизна которой выделялась среди мрачного очертания гор, он остановился и неожиданно оборвал свой припев. Затем, после недолгого молчания, с места, где он стоял, раздался такой дикий, такой скорбный, такой страшный и вместе с тем такой жалобный вопль, точно его издавал нечеловеческий голос. И в то же мгновение этот дикий вопль, похожий на стон гиены, потерявшей своих детенышей, отозвался в двадцати разных местах в лесу. Затем неизвестный исчез, продолжая напевать свою песню.

Антония успокоилась вполне только при входе в город, а по пути она обещала себе никогда больше не возвращаться из Фарнедо так поздно. Однако, раздумывая об этом

впоследствии, она осуждала свои страхи и находила всему, что ее взволновало, естественное объяснение; и все-таки ее слабость и робость тотчас же брали верх над усилиями рассудка. Ее чувствительность за отсутствием внешних объектов все больше и больше поддавалась ужасным химерам; она терялась в беспредельной неопределенности, и в ее душе зародилось тревожное отношение к миру, с каждым днем все более обострявшееся благодаря ее одиночеству, недоверчивости и отчужденности от общества. Иногда расстройство мыслей, вызванное страхом, доходило у нее до своего рода помешательства, которого она и пугалась и стыдилась.

Г-жа Альберти заметила это с крайним огорчением. Но, верная своей системе, она попрежнему старалась доставлять достаточно развлечений уму Антонии в ожидании того времени, когда благотворная естественная привязанность принесет их ее сердцу. Это была последняя, самая приятная и самая обоснованная ее надежда. В самом деле, никогда не надо отчаиваться за тех, кто еще не любил. Их существование должно еще получить дополнение, а это дополнение часто определяет судьбу всей остальной жизни.

IV

И вот появляются странные лица, хулимые и беснующиеся. И нельзя сказать, люди ли это или бесы и спят ли они наяву или бодрствуют во сне.

Де Ланкр

Прогулки в Фарнедо не прекратились, но г-жа Альберти старалась выходить раньше и возвращаться в Триест до заката солнца. Время года было знойное, и тень дубов едва поддерживала достаточную свежесть, чтобы умерять солнечный зной, когда африканский ветер начинал дуть на залив. Огромные тускло-желтые и все-таки ослепляющие тучи соби-

раются в каком-нибудь уголке неба, катятся и падают со своих гигантских высот, словно огненные лавины, растягиваются, выравниваются и замирают. Глухой гром сопровождает их и прекращается, после того как они остановятся. Тогда вся природа сковывается ужасом, подобно животному, которому грозит гибель и которое само принимает облик мертвого, дабы ускользнуть от смерти. Ни один лист не дрожит, ни одно насекомое не шуршит в неподвижной траве. Если обратить взоры в сторону, где должно быть солнце, то замечаешь, как колеблется в косом столбе светящихся атомов неосязаемая пыль, поднятая сирокко в пустыне и о происхождении которой говорит ее кирпично-красный оттенок. За исключением этого, не заметно никакого движения, если не считать коршуна, описывающего высоко в небе свой круговой полет и издали намечающего себе в песке добычу, ослабевшую под тяжестью этой грозной атмосферы. Не слышно ни единого голоса, если не считать резкого и жалобного рева хищных животных; мучимые кровожадным инстинктом, они мнят, что настал последний день вселенной, и требуют смертных останков сотворенных существ, которые им были обещаны. Сам человек, несмотря на свою духовную мощь, уступает этой силе, не пытаясь противиться ей. Благородное чело его клонится к земле, тело слабеет, и подкашиваются ноги. Без отваги и внутренней стойкости падает он и ждет в неодолимой тоске, чтобы свежий ветерок снова

W.B

оживил его, вернул живость его уму, жар — его крови и жизнь — природе.

Г-жа Альберти часто отдыхала с Антонией под купой деревьев, в красивом уголке, откуда видна часть Триеста, вплоть до греческой церкви, и где земля одета невысокой и свежей травой, приглашающей ко сну. Однажды Антония, чье хрупкое сложение не могло сопротивляться действию сирокко, уснула, меж тем как сестра ее прогуливалась в нескольких шагах, делая для нее из маленьких голубых вероник венок, наподобие тех, что сплетают с таким искусством истрийские девушки. Так как ей недоставало нескольких цветков, чтобы доплести венок, она отходила в разные стороны от уголка, где отдыхала Антония, и наконец заметила, что зашла слишком далеко; стараясь выйти на прежнее место, она еще более отдалялась от него.

Сначала это блуждание только забавляло ее, и она не придавала ему особого значения, затем она немного встревожилась, и тревога, делая ее шаг торопливее, еще больше лишала ее уверенности. Наконец тревога сменилась тяжелым чувством, которое должно было, однако, уступить тому соображению, что есть верное средство отыскать Антонию — стоит только громко позвать ее. Но крик потревожил бы покой Антонии и мог бы причинить вред этой живой и чувствительной душе, на которой пагубно отражалось малейшее неожиданное волнение. Вполне естественно было предположить, что, наоборот, сама Антония,

проснувшись, окликнет сестру, прежде чем испугается ее отсутствия. Ободренная этой мыслью, г-жа Альберти села и продолжала плести свой венок.

Тем временем Антония, действительно, проснулась. Легкий шум, послышавшийся в листве, прервал ее сон, и она полуоткрыла глаза, из-под прикрывавшей голову руки. Сквозь локоны, затенявшие часть ее лица, она заметила двух мужчин, внимательно смотревших на нее, и слабость зрения представила ей их фигуры смутными и жуткими. Один из них, на лицо которого спадал, точно вуаль, широкий султан, опирался на другого, сидевшего около него, поджав под себя ноги в позе отдыхающего рагузца. Антония, охваченная страхом, вновь закрыла глаза и затаила дыхание, чтобы трепетом груди не выдать охватившего ее волнения.

— Вот она! — сказал один из неизвестных,— вот девушка из Каза Монтелеоне, которая определила судьбу моей жизни!

— Атаман,— отвечал ему другой,— вы говорили это и о дочери горного бея, у которого мы перебили столько народу, и о любимой рабыне того турецкого пса, что̀ заставил нас так дорого заплатить за крепость Цетинье. Клянусь святым Николаем! Если бы мы захотели столько же сделать для покорения Валахии, вы были бы теперь господарем, и мы не нуждались бы...

— Замолчи, Жижка,— отвечал первый,— твои дурацкие возгласы разбудят ее, и я не смогу

любоваться ею и лишусь счастья, которым, может быть, мне уже никогда не придется больше наслаждаться. Остерегайся вызвать малейшее дуновение вокруг нее, иначе я проучу тебя и не пощажу даже твоего старого отца, который так горько раскаивается, что породил тебя. Ты смеешься, Жижка! Согласись все же, что моя Антония — красавица?

— Недурна,— сказал Жижка,— но не настолько, чтобы изнежить сердце мужчины и задержать полчище храбрецов в пригородной роще, где нет даже питьевой воды. Атаман,— продолжал он, поднимаясь,— куда прикажете отнести это дитя?

Антония вздрогнула, и рука ее невольно упала на грудь.

— Несчастный! — глухим голосом ответил атаман Жижки.— Кто тебя просит о твоих мерзких услугах? Знаешь ли ты, что эта девушка— моя супруга перед богом, и я поклялся, что никогда рука смертного не сорвет ни единого лепестка с ее девственного венца,— даже моя рука, Жижка... Нет, никогда на земле не будет у меня общего с нею ложа... Да что я говорю?! О, если б я знал, что мои губы когда-нибудь осквернят эти невинные уста, раскрывающиеся только целомудренным родительским поцелуям, я прижег бы их раскаленным железом. Наша молодость была взлелеяна буйными и жестокими помыслами. Но эта девушка священна для моей любви, и я оберегаю целость малейшего ее волоска... Моя душа устремляется к ней, парит над нею и

следует за ней в этой краткой жизни среди всех козней людей и судьбы, но сама она не замечает меня. Это — моя победа над вечностью, и я, погубивший свою жизнь, лишенный права разделить ее с таким нежным и благородным созданием,— я завладеваю им на все будущие времена. Я клянусь сном, который она теперь вкушает, что ее последний сон соединит нас и она будет спать возле меня до тех пор, пока не обновится земля.

Смятение Антонии все возрастало, но к нему стало примешиваться любопытство и заинтересованность. Ей хотелось посмотреть, однако слишком слабое зрение плохо служило ей. Она осторожно приподняла голову,— незнакомцы уже удалились. Она поднялась и стала всматриваться в то место, откуда доносились их голоса. Один из них еще был виден; он согнулся и пробирался под кустами; он был отвратителен.

Едва незнакомцы исчезли, как г-жа Альберти, руководимая легким шумом, вышла к подножью дуба, под которым уснула Антония. Она выслушала ее рассказ, но не поверила ей. Антония слишком часто проявляла слабость рассудка, а потому и сейчас надо было предположить, что все это было лишь видение или сон.

Мысль эта так расстроила г-жу Альберти, что Антония обманулась относительно ее чувств и приняла жалость, возбужденную ее мнимым помешательством, за сострадание, вызванное грозившей ей опасностью. Она вполне

предалась зародившимся в ней мыслям, и постоянная озабоченность стала у нее теперь почти манией.

— Итак, несчастная,— вскричала, наконец, г-жа Альберти,— кем же, по-твоему, ты любима? Одним из сообщников Жана Сбогара, прости господи?

— Жана Сбогара? — повторила Антония, отшатнувшись, точно наступила на змею.— Это весьма вероятно.

После этого невозможно было продолжать прогулки в Фарнедо. Антония почти не выходила из дому. Только иногда, когда ее ум, немного успокоившись, не тревожился страхами, предмет которых считался воображаемым, она ходила одна в порт подышать свежим вечерним ветерком. Иногда она останавливалась под стенами дворца св. Карла и старалась рассмотреть оттуда замок Дуино, о котором отец и сестра так часто говорили ей. Достигнув мола, подходившего близко к замку, Антония машинально шла к тому месту, где дорога оканчивается небольшой насыпью с узкой, обращенной к морю скамейкой, на которой мог удобно расположиться только один человек. Это уединенное место между населенным городом и пустынным морем нравилось ее воображению и не пугало его. После туманного дня она любила смотреть на заметный прилив, когда грифельная поверхность залива вдруг рассекается то в одном, то в другом месте; когда пенистые валы один за другим устремляются к побережью; когда

волна поднимается, белеет и снова падает под следующую за ней волну, а та охватывает ее и несет к более далеким волнам, между тем как чайки, взвиваясь на недосягаемую для глаза высоту, вновь спускаются, кувыркаясь как веретено, выпавшее из рук пастушки, носясь над самой водой, задевая ее крылами и точно скользя по ее поверхности.

Однажды вечером она задержалась там дольше обыкновенного, зачарованная на редкость ясною ночью и светом сверкающей луны. Она любовалась сиянием этой мирной планеты, спадавшим с горных вершин, точно серебряная пелена, слегка окрашенная синеватым оттенком; земля, море и небо как бы сочетались воедино, залитые этим неподвижным сиянием. Среди тишины побережья, изредка нарушаемой сигналами гардемаринов, можно было различить лишь трепет воды, замиравший около Антонии, да стук привязанной на конце мола лодки, которую через равные промежутки времени волна прибивала к насыпи.

Ее мысль, погруженная в смутную бесконечность, подобную расстилавшейся перед ее взором стихии, потеряла из виду мир, как вдруг внезапное ощущение ужаса вновь вернуло ее ко всем тревогам. Это ощущение, быстрое как молния, порожденное необъяснимой ассоциацией идей, было воспоминанием о том, что̀ приключилось с ней во время последней прогулки в Фарнедо,— воспоминанием о непостижимом появлении того человека, что присвоил себе безраздельную власть над ее

жизнью. Таково могущество воображения, что она тотчас же вновь представила себе эту картину и ее введенные в заблуждение чувства мгновенно предались полнейшей иллюзии. Ей казалось, что все это она еще видит и слышит. Яркий свет, сверкнувший из Дуино и сопровождавшийся глухим взрывом, разрушил наваждение, но волнение Антонии не улеглось, сердце ее сильно билось. Холодный пот струился по лбу. Ее беспокойный взгляд искал по сторонам то, что она страшилась увидеть. Ухо прислушивалось к тишине и приходило от нее в отчаяние. Ей хотелось отвлечься от этого беспредметного ужаса каким-нибудь разумным поводом к страху. Она напрягла внимание, и ей показалось, что она улавливает разговор вполголоса неподалеку. Она поднялась и снова села; ноги ее дрожали. Голоса стали немного громче; они приближались. Ей показалось, что она узнает голос рагузца, предлагавшего похитить ее в лесу: «Куда прикажете отнести это дитя?»

И в то же мгновение ей почудилось, что кто-то опять произнес почти те же слова. Ей трудно было убедить самое себя, что чувства ее обмануты сновидением: она наклонилась, чтобы лучше слышать; то ли слова эти не были договорены, то ли их повторяли снова. Они отчетливо поразили ее слух.

— Лучше умереть! — ответил более громкий голос, который, к тому же, был ближе к ней.

Она решила, что ее отделяет от говорящего лишь угол стены, выступающий на дорогу: еще

немного, и она почувствовала бы колебание воздуха, производимое его дыханием. Она торопливо отодвинулась на другой край скамейки и в это время увидела двух мужчин, бросившихся в маленькую лодку и уплывавших на веслах. Луна скрылась за жемчужно-серыми облаками, разрывавшимися мало-помалу на густые хлопья. Один луч упал на челнок и осветил белое перо, украшавшее шляпу одного из путников и развевавшееся по ветру. Антония почти ничего больше не различала; торопясь добраться до города, она в две или три минуты пробежала всю дорогу и промелькнула как тень мимо караульного, облокотившегося на свою пищаль.

— Да хранит вас бог, синьора! — сказал он ей.— Час поздний для девушек!

— Я думала, что я одна на молу,— возразила она.

— Вы и были там одни,— ответил караульный,— и в продолжение часа ни одна живая душа к нему не приближалась, разве что демон или Жан Сбогар.

— Храни нас небо от Жана Сбогара! — воскликнула Антония.

— Да услышит вас бог,— сказал, крестясь, солдат.

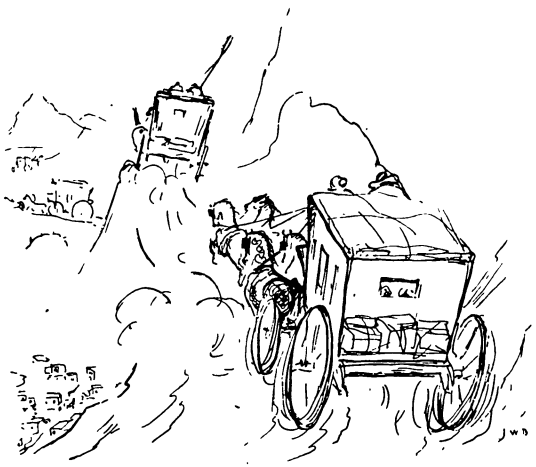
В то же мгновение пушка во второй раз загремела в стороне Дуино...

Этот новый рассказ Антонии был принят не с большим доверием, чем первый. Было очевидно, что сочувственное и грустное внимание, уделяемое ей, было притворно, ибо

рассказу ее не верили. Поняв это, она стала настаивать на своем с благородным спокойствием, удивившим г-жу Альберти, но не убедившим ее. Оставшись одна, Антония закрыла глаза руками и с глубокой горечью задумалась над своим положением. Мнение, составленное ею с детства об особенности своего существа и о состоянии обездоленности, в котором суждено ей было родиться, подтвержденное чувством, возбуждаемым ею в окружающих, укрепилось в ее уме и обострило крайнюю склонность к подозрительности и боязливости, составлявшую сущность ее характера.

Ее слабость была своего рода нравственным недугом, который нетрудно было излечить хорошим уходом и мягкостью обращения, на что г-жа Альберти была вполне способна. Но г-жа Альберти видела тут нечто другое, и это предубеждение только увеличивалось от усилий, которые она делала, чтобы преодолеть его. Антония была единственной мыслью, надеждой, любовью и целью ее жизни. Потерять эту нежно любимую дочь или видеть крушение всех построенных во имя нее планов из-за ее неизлечимого помешательства — было почти одно и то же. И как только появлялся повод опасаться этого последнего несчастья, она старалась убедить себя, что оно невозможно. В роковом заблуждении, происходившем от избытка любви, она отгоняла прочь осаждавшие ее подозрения, потому что они убили бы ее. Но было так страшно взглянуть

в лицо подозрению, хладнокровно обсудить его, дать, наконец, себе в нем отчет, что она не могла решиться на это. Ей удавалось отвлечься от него, но избавиться совсем она не могла. Ее воображение — в общем живое и властное — склонно было, помимо ее воли, неудержимо стремиться к самым тягостным думам и почти не видоизменяло представлений, однажды зародившихся в ее уме. Сестры смотрели друг на друга со взаимным умилением, происходящим у одной от избытка робости, у другой — от чрезмерной заботливости, делавших их равно несчастными.



V

О, боже мой! Верю, что твое суровое правосудие отделит правых от неправых. Пора-и, порази эту голову, обреченную издавна! Она покоряется твоему приговору; но пощади женщину эту и это дитя: вот они одни среди трудных и опасных путей мира. Верю, что найдется среди чистых духов, среди первых творений рук твоих, милостивый ангел, благосклонный к невинным и слабым, который благоволит сопутствовать им под видом странника, чтобы предохранить их от бурь морских и отвратить от их сердца острое лезвие разбойников.

Молитва путника

В это время важные дела, оставшиеся после смерти отца незаконченными, потребовали присутствия г-жи Альберти в Венеции. Она ре-

шила, что это обстоятельство может оказать благотворное влияние на состояние Антонии, и снова подумала, что прискорбные впечатления, расстроившие ее рассудок и, казалось, зависевшие от влияния местности и воспоминаний, исчезнут, наконец, при полной перемене привычек и образа жизни. Большое состояние, которым они располагали, позволяло им пользоваться в этом богатом и великолепном городе всеми удовольствиями, привлеченными туда со всех концов мира роскошью и искусством. Эти новые впечатления, обращающиеся больше к воображению, чем к чувствительности, представляли гораздо меньше опасности для хрупкой души, чем впечатления от созерцания естественных красот вселенной, величие которых удручает мысль. Итак, поездка в Венецию была решена, и Антония приняла эту новость с чрезвычайной радостью. Триест стал для нее великолепной тюрьмой, где, беспрестанно находясь под наблюдением невидимых шпионов, она жила во власти неведомого тирана, полного властителя ее свободы и жизни, несколько раз колебавшегося перед намерением похитить ее из среды родных, чтобы перенести в новый мир, о котором она не могла подумать без содрогания; и, может быть, этот тиран находится накануне выполнения своего коварного намерения, если только провидение не скроет ее от его глаз. Надежда быть освобожденной от человека, наводившего на нее ужас, быстро оказала свое действие и в несколько дней вернула Антонии свежесть и

прелесть молодости, поблекшие от волнений. Улыбка вновь появилась у нее на устах, спокойствие вернулось на ее чело, непринужденность зазвучала в разговорах,— она стала доверчивей и общительней. Г-жа Альберти, восхищенная тем, что уже одно ожидание отъезда произвело действие, так хорошо подтверждавшее ее предположения, приняла все меры к тому, чтобы еще более ускорить отъезд. Однакож недостаточная безопасность проезжих дорог требовала, чтобы отъезд был отложен до определенного дня, когда должны были собраться все попутчики, чтобы в дороге служить друг другу конвоем.

Карета г-жи Альберти оказалась девятой на месте сбора — на песчаной площади Обскины, откуда виднеется вдали залив и неправильные очертания дюн, которыми усеяна его обширная окружность.

Антонию и ее сестру сопровождали священник, торговый агент, старый преданный слуга и две женщины. В карете оставалось свободным еще одно место. День уже был на исходе; с утра дул бора, и опасались, что разразится один из тех ураганов, с которыми не шутят безнаказанно на высоком побережьи Истрии, где они сдвигают с места и сбрасывают на дно пропастей самые тяжелые грузы. С другой стороны, караван был настолько многочислен, что не приходилось опасаться разбойников, даже если бы в пути его застигла самая темная ночь. Поэтому заночевать предполагалось только в Монтефальконе, отстоящем оттуда на

несколько лье,— на поэтических берегах Тимава. Вечер неожиданно прояснился, воздух был свеж и чист, небо безоблачно. Экипажи медленно следовали один за другим по крутым и неровным склонам Триестских гор, по обширным зарослям, усеянным скалами, поднимающими там и сям свои острые и высокие гребни среди сухих и низкорослых мхов. Единственная зелень, заметная здесь,— это блестящая листва падуба да нескольких терновых кустов, влачащих по песку свои колючие ветви. У подножья косогора виднеется кучка домов самого печального вида; крыши их укреплены огромными камнями, напоминающими об опустошениях, производимых бора, и являющимися одним из многочисленных и зачастую тщетных препятствий, которые расставлены этому ветру всюду, где он имеет обыкновение бушевать. Это — деревушка Сестиана, населенная моряками и рыбаками.

Пока лошади отдыхали от усилий, затраченных на сдерживание груза, наседавшего на них во время крутого и скользкого спуска, старый хозяин постоялого двора Сестианы подошел к дверцам кареты г-жи Альберти и попросил ее во имя христианского милосердия довезти в своей карете до Монтефальконе бедного и удрученного усталостью странника, который не в состоянии продолжать путь. Это был молодой монах из армянского монастыря, находящегося в венецианских лагунах; он возвращался из миссии; кроткое и честное лицо его внушало живейшее участие. Такую

просьбу г-жа Альберти и ее сестра никогда не отвергли бы, какие бы ни были у них для этого основания. Дверцы отворились, и армянин, поддерживаемый добрым стариком, представившим его, поставил ногу на подножку кареты, пробормотав несколько слов благодарности и с трудом сел на предоставленное ему место. Его белая и нежная, как у девушки, рука случайно оперлась на руку г-жи Альберти, но он поспешно ее отдернул и, заметив, что карета занята почти исключительно женщинами, опустил себе на лицо огромные крылья круглой фетровой шляпы, прежде чем кто-либо успел его разглядеть. Вскоре снова тронулись в путь. Ночь к тому времени совсем спустилась.

Перегон от Сестианы до Дуино усеян мелкими камешками и тонким, сыпучим, ускользающим из-под колес песком, в котором карета, то поднимаясь, то снова проваливаясь, качается как на волнах. При обманчивом и призрачном свете ночных светил это впечатление еще более усиливается благодаря серебристому блеску песчаной равнины и смутным очертаниям горизонта, который утрачивает свои дневные границы и, расширяясь в неопределенности мрака, являет взорам образ необъятного моря. Тогда кажется, что лошади пускаются в брод и идут по пространству, затопленному горными потоками...

Антония, занимавшая один из углов кареты, подняла стекло с своей стороны и наслаждалась этим призрачным видом, дыша холодным,

но бодрящим ночным воздухом. Сыпучая, пѐсчаная почва, ускользавшая из-под ног лошадей, крайне затрудняла и замедляла ход; было заметно малейшее движение за окнами кареты. Много раз Антонии, склонной поддаваться малейшим поводам для беспокойства, мерещились причудливые тени, скользящие в расстилающемся перед ней смутном пространстве. И в смущении она задерживала дыхание, чтобы убедиться, не сопровождается ли это движение каким-нибудь шумом, что было бы неизбежным, если бы оно не было простым обманом зрения. Вдруг возница, быть может, испытывавший нечто подобное или боявшийся поддаться дремоте, затянул своеобразную далматскую песню, не лишенную прелести для привычного уха, но на первый раз удивляющую слух своим необыкновенным и диким характером. Модуляции этого напева так причудливы, что только местные жители обладают их секретом. Мелодия его, однако, очень проста; она состоит из одного единственного мотива, повторяющегося по обыкновению первобытных народов бесконечное количество раз, да из двух-трех звуков, чередующихся в одном и том же порядке. Что̀ в ней непостижимо, так это природа этих звуков: их порождает словно нечеловеческий голос, и искусственность эта напоминает мастерство французских жонглеров-чревовещателей, беспрестанно меняющих выражение, объем и место, откуда слышится голос, с тою только разницей, что у иллирийского певца все это

W.B.

выходит вполне естественно. Это — последовательное и быстрое подражание самым низким звукам, самым пронзительным крикам и, в особенности, тем шумам, которые обитатель пустынных мест слышит по ночам в ропоте ветра, в свисте бурь, в завывании испуганных животных, в жалобах, доносящихся из глухих лесов перед ураганом, когда все в природе начинает стонать, вплоть до ветки, которую ветер надломил, но не оторвал от родного дерева, и которая покачивается и скрипит, повиснув на остатках коры...

Голос то становится полнозвучным и мощным и звучит возле слушателей, то раздается словно под сводами; а иногда кажется, что воздух вознес его за облака и что он наполняет небеса чарующими звуками, никогда еще не звучавшими в человеческом голосе. Но все же в этой воздушной музыке — даже тогда, когда она наиболее приближается к ангельской,— нет той безмятежной, способной успокоить душу непорочности, которую мы приписываем музыке ангелов. Напротив, сурова она для сердца человека, потому что будит мысль, полную мятежных воспоминаний, страстных чувств, тревог и сожалений; но она притягивает, она увлекает, она покоряет внимание, которое не в силах освободиться от ее власти. Она напоминает ту нежную и страшную музыку морских божеств, что опутывала некогда путешественников и влекла корабли к неминуемым подводным камням. Наделенный пылким воображением чужестранец, которому

хоть раз довелось, сидя на далматинском побережье, слышать вечернюю песнь юной морлацкой девушки, слышать разносимые ветром звуки, которым не научит никакое искусство, которые не повторит ни один инструмент и никакое слово не передаст, мог понять пленительность сирен Одиссеи и, улыбнувшись, простить Улиссу его заблуждение.

Антония, как все слабые души, охотно устремляющиеся за пределы природы, ибо они ищут покровительства и, особенно, любви (а это, быть может, для них одно и то же),— Антония больше чем кто-либо наслаждалась таинственными эффектами, удваивающими явления жизни и открывающими уму новый мир. Она не верила в существование промежуточных существ, играющих такую большую роль в суевериях ее отечества и усыновившей ее страны: в мрачных великанов, царящих на высоких горах, где они восседают иногда среди облаков с огромной сосной в руках; в легких как воздух сильфов, дворцы которых помещаются в чашечке маленького цветка и которых мимоходом похищает Зефир; в ночных духов, охраняющих клады, зарытые под перевернутыми вершиной вниз скалами, или блуждающих окрест, отгоняя воров, и оставляющих на своем пути изменчивое пламя, которое поднимается, опускается, потухает, чтобы возродиться,— исчезает и возрождается вновь. Но она любила эти поверья; и морлацкое пение, которому она часто внимала с удовольствием, воскрешало их все в ее воображении. Поэтому

она слушала с сосредоточенным вниманием, как вдруг странный толчок кареты, внезапно остановившейся и раскачивающейся на месте, прервал ее грезы. Лошади попятились на шаг, и морлацкая песня замерла на губах возницы.

— Передние кареты ушли вперед,— сказал он,— пока к нам садился монах. А дорога, если не ошибаюсь, перерезана разбойниками.

— Что он говорит?!— вскричала г-жа Альберти, бросаясь к оконцу.

— Он говорит, что мы окружены разбойниками,— ответила Антония, откинувшись в угол кареты и дрожа от ужаса.

— Окружены!— повторяли г-жа Альберти и пассажиры.

— Окружены! Убиты! Погибли!— продолжал ямщик.— Это они, это шайка Жана Сбогара, и вот мерзкий замок Дуино, который станет нашей общей могилой.

— Святой Николай Рагузский!— молвил армянский монах глухим и грозным голосом.— Скорее земля провалится под нашими ногами!

И с этими словами он бросился в толпу разбойников. Дикий вопль, напугавший Антонию в Фарнедо, раздался в тот же миг, и тысяча ужасных голосов зарычали, вторя ему. Дверцы захлопнулись за миссионером. Шторы были спущены. Лошади стояли неподвижно. Мертвая тишина царила в карете. Снаружи доносился только глухой шум, все более и более удалявшийся, когда под усиленный свист бича лошади снова пустились крупной рысью

без удержа, словно это предостережение произвело на них действие колдовства. Они остановились, лишь нагнав остальных путешественников.

— А армянин? — восклицала Антония, наполовину высунувшись в оконце.— Благородный, отважный молодой человек, пожертвовавший собою ради нас?!.. Боже мой!.. Боже мой!.. Неужели мы оставили его в руках убийц? Это был бы ужасный поступок!

— Ужасный! — живо повторила г-жа Альберти.

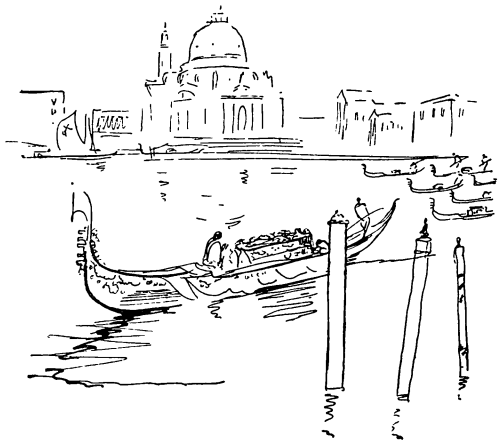
— Не волнуйтесь, сударыня! — ответил успокоившийся кучер, слезая с козел.— Этому монаху нечего бояться убийц. Они бессильны против него, и знайте: это он приказал мне погнать коней и воротил мне силы и голос. А с каким жаром они кинулись, вы заметили?! Я его видел совсем близко, клянусь вам, потому что разбойники подошли ко мне почти вплотную, а он бросился между ними и мной; он был так грозен, что некоторые из них попàдали со страха, а все прочие пустились наутек, даже ни разу не обернувшись. Спустя минуту, он остался один и стоял, подняв руку, с повелительным видом. «Пошел!» — крикнул он мне таким внушительным голосом, что кровь застыла бы в моих жилах, если бы он гневался; но он говорил покровительственно, как обыкновенно разговаривает с матросами...

— С матросами? — сказала г-жа Альберти.— Значит, ты знаешь этого армянина?

— Знаю ли я его?..— ответил ямщик.— Да ведь он сам назвал себя, когда крикнул: «святой Николай Рагузский!». Какой другой святой испытует путешественников и их вознаграждает? И кто другой, как не святой, в силах разогнать одним словом, одним мановением, одним взглядом целую шайку разбойников, у которых в руке меч, в сердце ярость и которые ищут опасности, золота и крови,— скажите на милость?!..

Кучер умолк, глядя на небо, по которому пробежал внезапный отблеск.

Пушка грохотала в Дуино.



VI

Одни называют его великим моголом, другие пророком Ильей. Это—необыкновенный человек, вездесущий, никому неведомый и которому никто не желает зла.

Льюис

Это объяснение удовлетворило не всех; г-жа Альберти придумывала много других и принимала их поочередно. Антония не видела ничего особенного в этом происшествии, но находила в нем все, что требовалось для поддержания ее мрачных и мечтательных мыслей. В таком расположении духа продолжала она путешествие среди очаровательных равнин, по

которым пролегал их дальнейший путь. На следующий день увидела она смеющуюся Горицию, богатую цветами и плодами, вид которой издали ласкает взоры путешественника, только что выбравшегося из бесплодных песков истрийского побережья. Античные воспоминания сами собой пробуждаются на этих любимых природой холмах и так хорошо уживаются здесь, что кажется, будто живешь еще в поэтическом царстве мифологии. Красавицы прогуливаются здесь под беседками, посвященными Грациям; охотники собираются здесь в роще Дианы; отсюда спускаются они за дичью в поля, тянущиеся вдоль берегов Изонцо. Изонцо — изящнейшая из итальянских и греческих рек, русло которой глубоко проложено меж двух гор серебристого песка,— катит свои небесно-голубые воды, чистые, как отражающаяся в них небесная твердь, у которой им не приходится заимствовать блеск. Когда небо заволакивается тучами, житель Гориции находит небесную лазурь на прозрачной поверхности Изонцо.

Через день она увидела восхитительные каналы Бренты, окаймленные по берегам роскошными дворцами, и скромное селение Местр, служащее связующим пунктом между частью Европы и городом, равного которому нет во всей Европе,— великолепной Венецией, само существование которой — чудо.

День едва рождался, когда барка, которая должна была перевезти в Венецию г-жу Альберти, Антонию и лиц, сопровождавших их,

вышла из Бренты в морские воды. Небольшое судно плавно скользило по неподвижной воде вдоль столбов, направляющих мореходца. Г-жа Альберти заметила справа от себя, среди островков, которыми усеяна эта часть лагун, белый дом очень простой постройки. Ей сообщили, что это монастырь армянских католиков, и Антония вздрогнула, хотя и не была в состоянии объяснить себе свое волнение. Наконец Венеция стала вырисовываться на горизонте темным силуэтом, со своими соборами, зданиями и лесом корабельных мачт; потом она прояснилась, развернулась и открылась перед баркой, долго кружившей между судами различной величины, прежде чем войти в канал, на котором был расположен дворец Монтелеоне, недавно приобретенный г-жей Альберти.

Тягостное обстоятельство задержало их прибытие. Канал оказался запруженным гондолами, сопровождавшими погребальную процессию. Это были похороны молодой девушки, ибо гондола с гробом была задрапирована белым и усеяна букетами белых роз. Два светильника пылали на ее концах, и их свет, затмеваемый восходящим солнцем, казался лишь голубоватым дымком. На ней был только один гребец.

Священник с серебряным крестом в руках стоял на передней части гондолы, повернувшись в сторону гроба, и шептал заупокойные молитвы. Против него молодой человек, одетый в черное, стоял на коленях у изголовья гроба и горько плакал. В звуках его подавлен-

ных рыданий было что-то раздирающее; это был, вероятно, брат усопшей. Его скорбь была так глубока и остра, что, если бы она была возбуждена другим чувством, она была бы смертельна. Любовник не стал бы плакать.

Эта встреча слегка взволновала чувствительную Антонию дурным предзнаменованием; но первый же занимательный предмет отвлек ее от суеверной мысли, навеянной этой встречей. Она была около сестры, у нее не было разумных поводов бояться за будущее; наоборот, ее ожидала, вероятно, приятная жизнь, ненарушимое спокойствие, словом, такое счастье,— если только оно существует для нежных душ, сочувствующих всем людским страданиям,— каким немногие из них призваны наслаждаться. Она задумалась об этом будущем; она впервые наслаждалась чувством полной беззаботности; она сочла себя счастливой; она постигла возможность быть вечно счастливой и, в самом деле, никогда не была так счастлива.

Простой народ всюду влюблен во все необычайное и склонен увлекаться; но нигде не заходит так далеко, как в Венеции, эта способность создавать себе кумиры из случайных предметов восторгов, которые, в свою очередь, часто становятся гибельными для тех, кто их возбудил. В ту пору только и было разговоров, что о молодом иностранце, который непонятным образом — так как никогда не давал ни малейшего повода заподозрить себя в подобных стремлениях — снискал себе это блестящее и недолговечное расположение. Ге-

ниальность, отвага и доброта Лотарио были предметом всех бесед; его имя было у всех на устах. В течение короткого переезда из Местра в Венецию оно раз двадцать повторялось в разговорах моряков.

Г-жа Альберти прошлась по своему новому жилищу, поддерживая рукою Антонию, слабость здоровья которой требовала этой поддержки даже тогда, когда она не была больна. Потом она отвела ее в одну из главных комнат дома, где они сели рядом. Старый дворецкий явился их приветствовать и стоял в ожидании распоряжений.

— Мы довольны,— сказала ему г-жа Альберти,— здесь все отвечает тому, чего я ожидала от ваших хлопот, честный Маттео, и я могу судить по этому началу, что никому не будут служить в Венеции лучше, чем нам.

— Даже синьору Лотарио,— ответил старик, почтительно склоняя свою лысую голову и вертя в руках черную шелковую горру.

На этот раз Антония разразилась смехом.

— Великий боже, что это за синьор Лотарио? С того времени, как мы приехали, я только и слышу его имя!

— Правда,— сказала г-жа Альберти, пробегая мысленно свои предположения с обычной для нее стремительностью,— что это за синьор Лотарио? Сообщите нам, дорогой Маттео, что надлежит думать об этом человеке, чье имя, не успев еще перейти залив, сделалось уже легендарным в Венеции?

— Сударыни,— отвечал Маттео,— я и сам

знаю не больше, хотя и поддался привычке пользоваться этим именем; к нему существует в этой стране такое доверие, что даже разбойники его почитают. Это может показаться преувеличенным, но это сущая истина. И синьор Лотарио внушает всем такое уважение, что бывали случаи, когда одно его имя заставляло убийцу выпустить из рук стилет; что слух, один только слух об его приближении усмирял мятеж, разгонял скопище недовольных, возвращал Венеции спокойствие. Между тем это совсем не страшный молодой человек, уверяю вас, ибо в один голос говорят, что на людях он кроток и робок, как дитя. Я видел его только раз, и то издали, но, увидав его лицо, я почувствовал внезапный страх, заставивший меня поверить всему, что о нем говорят. С того времени я тщетно старался увидеть его снова. Он покинул город.

— Он уехал из Венеции? — воскликнула Антония.

— Он отсутствует уже почти год, вопреки обыкновению,— отвечал Маттео,— так как редко проходит больше двух-трех месяцев, чтобы он сюда не вернулся.

— Значит, он живет здесь не постоянно?— спросила г-жа Альберти.

— Нет, конечно,— продолжал Маттео,— но уже давно, очень давно ведется, что он из месяца в месяц наезжает сюда на несколько дней,— когда больше, когда меньше,— но почти никогда не остается дольше недели или двух. На этот раз его долгое отсутствие могло бы

вызвать опасения, что он совсем покинул Венецию, если бы уже не было других подобных примеров. Но припоминают, что он уже исчезал отсюда на несколько лет.

— На несколько лет?— сказала Антония.— Вы сказали это, не подумав, Маттео. Вы нам только что говорили, если я вас правильно поняла, что это очень молодой человек.

— Очень молодой, верно,— ответил Маттео,— по крайней мере таким кажется он. Я не противоречу этому, но говорю сообразно с мнением народа, которое не заслуживает вашего внимания, сударыни, и которое мне было бы совестно...

— Продолжайте, продолжайте, Маттео,— сказала с пылкостью г-жа Альберти.— Это нас очень интересует; не правда ли, Антония? Садитесь, Маттео, и не забудьте ничего, решительно ничего, что касается Лотарио.

Г-жа Альберти была в самом деле живо заинтересована, и ее ум, быстро все схватывающий, намного опередил рассказ Маттео романтическими и чудесными предположениями, которые ей хотелось поскорее проверить. Антония была не менее чувствительна,— напротив, она возбуждалась легче и больше любила волнения; но в то же время она страшилась их, так как по слабости своей не могла им сопротивляться. Когда Маттео стал смутными и причудливыми подробностями своего рассказа возбуждать любопытство г-жи Альберти, она прижалась к сестре с дрожью беспокойства и ужаса, которые старалась прикрыть улыбкой.

— То, что я знаю о синьоре Лотарио,— степенно начал Маттео (он сел, повинуясь приказанию г-жи Альберти),— известно мне, как я уже вам, сударыни, доложил, лишь из народной молвы. Это — молодой человек очень красивой наружности, появляющийся время от времени в Венеции в сопровождении прямотаки княжеской свиты, а, между тем, сдается, он живет в большом городе лишь для того, чтобы иметь случай распространять свои щедрые благодеяния на бедных, ибо он мало посещает общество и почти не заводит ни знакомств, ни тесной дружбы ни с мужчинами, ни с женщинами. Он посещает иногда бедные семейства для оказания им помощи. Он увлекается искусствами, с успехом занимается ими и охотно беседует с художниками, прося у них советов. Если не считать этих связей, которые он старательно ограничивает, он живет в Венеции почти отшельником. Он и десяти раз не входил в частный дом; он ни с кем не переписывается. Это доходит до того, что никогда никто не бывал с ним достаточно близок, чтобы узнать его фамилию или место его рождения или составить себе предположение насчет тайны его жизни. Правда, у него много слуг, но все они чужие ему, потому что он их сменяет каждый раз, как уезжает, и берет себе в самой Венеции тех, которые должны служить ему, пока он здесь живет. Его дела вне дома проливают не больше света. С тех пор, как его знают, ни разу почтальон не принес ему письма, банкиры не

доставили ему ни одного цехина. Революции ни малейшим образом не отзываются на его положении. В бурные времена он отлучается не дольше, чем обычно. И в то время, когда ко всем путешественникам применяются всевозможные меры предосторожности, его паспорт с одним простым именем «Лотарио» всегда оказывается подписанным правящей властью. Подобное обстоятельство могло бы сделать это имя подозрительным, если бы не было известно, что множество добрых дел, связанных с ним, ставили его в пример могущественным людям всех времен и всех партий.

К тому же было бы трудно побеспокоить его в Венеции, где он для многих является предметом любви, признательности и, так сказать, поклонения. Гонение на Лотарио, если бы когда-нибудь он дал к этому повод, явилось бы, может быть, сигналом к революции; но он, кажется, об этом не думает, ибо оказывает бедноте вспомоществование, но отнюдь не льстит ей. Его суровый и немного надменный ум, как уверяют, отделяет его от бедняков преградой, которую он один властен устранить; но если бы он на это и решился, то не мог бы этого сделать без потрясения Венецианских Провинций. Значительное расстояние, оставленное им между собою и народом, не возмущает никого, потому что чувствуется, что границы его намечены самой природой и что притом расстояние это отделяет его еще заметнее от людей, которые по своему положению могли бы приблизиться к нему. Действительно, имен-

но таких людей он особенно сторонится. И если случается, что синьор Лотарио снисходит ради кого-нибудь с высот своего достоинства, то это никогда не делается ради вельможи; он делает это для немощного, нуждающегося в его поддержке, для заблудившегося ребенка, для припадочного, вид которого отталкивает прохожих. Это не мешает ему посещать публичные сборища и многолюдное общество, где люди могут появляться и даже блистать, не общаясь непосредственно ни с кем в отдельности. Здесь он легко выделяется, так как в Венеции, говорят, нет художника и музыканта-виртуоза, который мог бы с ним сравниться. Но утверждают, что он далек от того, чтобы пользоваться этими преимуществами, и страшится пускать их в ход; что он только скрепя сердце обнаруживает их и что в тот момент, когда они могли бы доставить ему приятные знакомства или выдающееся положение, он исчезает из Венеции, словно чтобы избежать блеска общественной и светской жизни, могущей завладеть им самим и тайной, которою он желает себя окружить. Честолюбия для него не существует; даже любовь никогда не удерживала его, хотя нет на земле более привлекательных женщин, чем в Венеции. Один раз показалось, что он сильно увлечен одной знатной девушкой, выказывавшей, с своей стороны, к нему пылкую страсть. Но загадочное несчастье положило конец отношениям, которые подозревали между ними. Это случилось во время отъезда Лотарио,— он на

этот раз пробыл в Венеции немного дольше обыкновенного, но все же его чувство, если только оно существовало, не могло его удержать. Дня через два-три после его отъезда девушка исчезла, и только много спустя нашли ее тело на песчаной отмели там, где потом основался армянский монастырь.

— Как все это странно,— промолвила Антония с выражением глубокой сосредоточенности.

— Нет, синьорина,— возразил Маттео, следуя своей мысли, которая, быть может, не совпадала с мыслью Антонии,— движение вод, гонимых морем, выбрасывает на эту сторону большинство обломков, плавающих в наших каналах. Ввиду того, что девушка была пылкая и что подробности, которые я теперь позабыл, указывали, что смерть была насильственной, ее приписали скорее отчаянию, чем несчастному случаю. Кажется даже, что ее собственноручное письмо, найденное впоследствии, в котором она объясняла свое намерение, подтвердило это предположение.

— Смотрите, Маттео,— сказала г-жа Альберти,— вы начали с того, что Лотарио молод...

— Двадцати пяти или двадцати шести лет, самое большее,— отвечал Маттео,— но он очень белокур и с виду хрупок, хотя ловчее и сильнее людей самого крепкого сложения, и вероятно...

— Невероятно,— с настойчивостью продолжала она,— чтобы он был в отсутствии в течение многих лет после того, как впервые появился в Венеции. Этого вы нам не разъяснили. Подумайте, кроме того, что приключение

с девушкой, найденной мертвой на армянском острове, должно было бы, по вашим же словам, предшествовать прибытию армян, и что тогда...

— Больше я ничего об этом не знаю,— с некоторым смущением отвечал Маттео,— и рассказал я вашей милости только то, что сам слышал от пожилых венецианцев, утверждающих, что видели некогда синьора Лотарио таким, каков он и теперь; но они предполагают, что он был в отсутствии не менее пятидесяти лет. Посудите сами, какая нелепая мысль! Впрочем, надо предполагать, судя по образу жизни синьора Лотарио, что он очень заинтересован в сокрытии того, кем он является на самом деле; иначе не понять стараний, какие он, без сомнения, положил на поддержание и даже распространение слухов, способных усилить на его счет неуверенность общественного мнения; и надо сознаться, что нет такого странного и нелепого слуха, который, пусть в течение недолгого времени, не повторялся бы даже теми, которых все считают людьми рассудительными. Вы можете судить о них по самому правдоподобному из слухов, а именно: что этот таинственный иностранец обладает тайной философского камня! И, право, не знаешь, как объяснить иначе роскошную жизнь и королевские траты неизвестного, не занимающегося ни торговлей, ни промышленностью, не имеющего ни малейшей собственности, ни малейших деловых сношений какого бы то ни было рода. Около трех лет тому назад, во время его первого приезда после того долгого

отсутствия, о котором говорят здешние люди, несколько завистников, раздраженных его удивительными успехами, а, может быть, и тем, что сам он придавал этим успехам мало значения или что благоволение, которого можно от него добиться, весьма похоже на презрение, вздумали пустить о нем оскорбительную молву. Я едва осмеливаюсь повторить этот слух и решаюсь на это только здесь, так как в другом месте мог бы за это поплатиться. Дошло до того, что стали говорить, будто он доверенный шайки фальшивомонетчиков, скрывающихся в тирольских пещерах или в одном из лесов Кроации. Это заблуждение продолжалось недолго, ибо синьор Лотарио раздает золото с такой щедростью, что легко проверить его происхождение и пробу. Вскоре убедились, что не было лучшего золота во всех Венецианских Провинциях. С тех пор, если и сочиняли басни на его счет, то, по крайней мере, они перестали быть оскорбительными и дерзкими. Кто он в действительности — я не знаю,— сказал Маттео, поднимаясь с места,— но повторяю, что, если он вернется в Венецию, он сможет сделаться здесь всем, чем только пожелает быть.

— Он вернется,— сказала г-жа Альберти, подхватив эту мысль с романтической восприимчивостью, которую она слишком часто принимала за проницательность; в этом был ее единственный недостаток.

VII

Ты увидишь меня еще раз в этом облике, и тот день будет последним.

Шекспир

Этот разговор не оставил глубокого следа в уме Антонии. Когда имя Лотарио, часто упоминавшееся в кругах, куда ввела ее сестра, доходило до ее слуха, ей всегда смутно припоминались причудливые и странные вещи, о которых рассказал им Маттео. Но это было лишь мимолетным ощущением, которому она постыдилась бы предаться надолго. Стараясь разобраться в первом впечатлении, произве-

денном на нее этим рассказом, она огорчалась, что не может составить себе о Лотарио определенного мнения. Но не в ее характере было долго теряться в бесполезных предположениях насчет того, что так мало ее касается. Слабость ее организма и свойственная ей вялость принуждали ее значительно ограничивать свои чувства, и чем сильнее бушевали вокруг нее страсти по чуждому ей поводу, тем менее способна она была разделить их. Но вот однажды по Венеции пронесся слух, что Лотарио приехал, и этот слух, подтвержденный вскоре безумной радостью восторженной черни, быстро дошел до Антонии. В тот самый день она должна была быть с г-жей Альберти в обществе, состоящем, главным образом, из иностранных вельмож, привлеченных в Венецию удовольствиями карнавала и собиравшихся время от времени на музыкальные вечера. Едва сестры вошли, как лакей доложил о синьоре Лотарио. Внезапный трепет удивления и радости пробежал по собранию и охватил в особенности г-жу Альберти, которую легко увлекало все необыкновенное. Она приняла свое волнение за счастливое предзнаменование, а так как все ее мысли связывались с Антонией, она порывисто пожала руку сестры, сама хорошенько не зная, что могло бы означать это пожатие. Антония взволновалась по-иному; ее сердце сжалось от какого-то ужаса, потому что вокруг имени Лотарио собралось в ее уме несколько тревожных и страшных подробностей, поразивших

ее в речах старого дворецкого. Некоторое время она даже медлила поднять глаза на Лотарио; но затем отчетливо увидела его: он стоял неподалеку и, казалось, смотрел на нее в тот миг, когда она увидела его. Он тотчас же отвел взор, не останавливая его, однако, ни на каком другом предмете. Опершись на край античной мраморной вазы, наполненной цветами, он имел вид человека, принимающего участие в незначительном разговоре лишь для того, чтобы избавить себя от необходимости перенести свое внимание в другое место. При виде его Антонио охватило волнение, которого она никогда до тех пор не испытывала и которое не походило ни на одно из знакомых ей чувств. Это уже не был ужас; это не было похоже и на первые смятения любви, как она их себе представляла; это было нечто неясное, неопределенное, непонятное, похожее на смутное воспоминание, на сновидение или бред. Ее грудь порывисто трепетала, ее тело утрачивало гибкость, в глазах у нее мутилось, неизъяснимая истома сковывала все ее околдованное существо. Тщетно пыталась она расторгнуть это колдовство,— оно увеличивалось от ее усилий. Она слыхала рассказы о непреодолимом оцепенении заблудившегося путешественника, которого зачаровывает взглядом исполинская змея в лесах Америки, о головокружении, охватывающем пастуха, когда он в поисках своих овец доходит до обрыва одного из гигантских альпийских хребтов и, вне-

запно ослепленный круговым движением, которым его воображение, словно волшебное зеркало, наделяет окружающие пропасти, сам бросается в их ужасные глубины, не будучи в силах противиться власти, которая и возмущает и увлекает его. Антония чувствовала нечто подобное и столь же трудно объяснимое, что-то внушающее нежность и отвращение, что поражало, отталкивало, манило, что ложилось бременем на ее сердце; она дрожала. Этот свойственный ей озноб не испугал г-жу Альберти. Но все же она стала торопить Антонию выйти, и Антония этого желала сама. Она сделала усилие подняться, обмерла, вновь села и улыбнулась г-же Альберти, которая приняла эту улыбку за желание остаться. Лотарио стоял все на том же месте.

Он был одет по французской моде с изящной простотой. Ни малейшей изысканности не замечалось в его одежде; на нем не было никаких драгоценностей, если не считать двух небольших изумрудов, которые висели в его ушах под густыми локонами светлорусых волос, затенявших его лицо и придававших ему странный и дикий вид. Украшение это давно уже вышло из моды в Венецианских Провинциях, как и почти во всей цивилизованной Европе. Лотарио не был безукоризненно красив, но в лице его было необыкновенное очарование. Его большой рот, узкие и бледные губы, за которыми виднелись зубы ослепительной белизны, презрительное и иной раз жестокое выраженние лица — отталкивали с первого

взгляда; но взор его, полный нежности и мощи, силы и доброты, внушал уважение и любовь, особенно, когда светился каким-то мягким светом, украшавшим все его черты. На его лбу, очень высоком и чистом, было что-то странное: волнистая складка, проведенная не годами, отмечала след какой-то озабоченной и неотступной мысли. В общем лицо его было серьезно и мрачно. Но никто с большей легкостью не умел уничтожить неприятное предубеждение. Ему достаточно было для этого приподнять ресницы и дать сверкнуть небесному огню, воодушевлявшему его глаза. В этом взоре было нечто неизъяснимое для наблюдателей, говорившее об организации высшей, чем человеческая. Для толпы он был, смотря по случаю, то ласковым, то повелительным; чувствовалось, что он может быть грозным.

Антония довольно хорошо играла на фортепиано. Но ее застенчивость почти всегда мешала ей развернуть свое искусство перед многочисленным обществом. Существует род скромности — и именно таким отличалась Антония,— который состоит в постоянном затушевывании своих дарований, дабы не обидеть посредственностей, которые всюду встречаются в большинстве, а, может быть, также и для того, чтобы не вызвать осуждения немногих знатоков мнимой претенциозностью. Она соглашалась сыграть что-нибудь публично, только уступая упрашиваниям, которые она считала простой вежливостью и которые поэтому рассчитывала удовлетворить, не выка-

зывая всех своих способностей. Она даже заметила, что выражения благодарности и удовлетворения, которыми вознаграждалась ее снисходительность, бывали не меньше, когда она передавала какой-нибудь пассаж просто, лишь в согласии с техническими правилами исполнения, нежели когда она поддавалась внезапному и счастливому вдохновению, удовлетворявшему ее внутренне. Итак, после приглашения она села за фортепиано довольно спокойно и дала пальцам волю скользить по клавиатуре с обычным равнодушием, как вдруг ее глаза, привлеченные отражением в зеркале, против которого она поместилась, были поражены странным и ужасным призраком. Лотарио приблизился к ее стулу, а так как стул этот был поставлен на эстраде, где помещался инструмент, то бледная и неподвижная голова Лотарио одна возвышалась над красным кашемиром шали Антонии. Беспорядочно развеявшиеся волосы этого таинственного молодого человека, угрюмая неподвижность его печальных и строгих глаз, тягостная созерцательность, в которую он казался погруженным, конвульсивное движение странной извилистой складки, начертанной несомненно горем на его лбу,— все придавало этому образу что-то наводящее ужас. Удивленная, смущенная, испуганная Антония, переводя взоры с пюпитра на зеркало и с зеркала на пюпитр, вскоре потеряла из вида смешавшиеся ноты и даже слушателей, окружавших ее. Невольно подменяя охватившим ее чувством те чувства,

которые она должна была передавать в музыке, и сделав изумительный переход, принятый скорее за странный каприз ее воображения, чем за то, чем он был в действительности, она стала импровизировать и выразила чувство такого неподдельного ужаса, что все содрогнулись; затем она бросилась в объятия г-жи Альберти, которая отвела ее на место среди шума аплодисментов, смешанных с шопотом удивления и беспокойства. Проследив за ней взглядом, Лотарио приблизился к арфе, и всеобщее движение любопытства и удовольствия последовало за волнением, только что смутившим собрание. Сама Антония, успокоившись и рассеявшись новым впечатлением, выражала живейшее нетерпение послушать Лотарио; а так как он, казалось, опасался, что она еще недостаточно успокоилась, чтобы принять участие в остальных увеселениях вечера, она сочла себя обязанной показать ему взглядом, что ее недомогание прошло. Этот знак участия со стороны Лотарио живо тронул ее. Но Лотарио был, повидимому, еще более тронут легким изъявлением внимания, только что полученным от Антонии, и словно переродился, пока она на него глядела. Его лоб прояснился, его глаза сияли странным светом; улыбка, в которой смешались остаток умиления и начало радости, украшала его строгий рот. Проводя левой рукой по широким волнам своих волос в поисках мотива или воспоминания, он другой рукой слегка касался струн арфы, вызывая в них лишь смутную вибрацию и извле-

кая в виде прелюдии беглые, но чарующие звуки, напоминающие музыку духов; и казалось, он роняет их в воздушное пространство.

«Горе тебе,— вполголоса напевал он,— горе тебе, если растешь ты в лесах, подчиненных владычеству Жана Сбогара».

— Это,— продолжал он,— знаменитая песнь об анемоне, хорошо известная в Заре, и новейшее произведение морлацкой поэзии.

Антония, глубоко взволнованная выбором этой песни и звуком голоса Лотарио, придвинулась к г-же Альберти, очень озабоченной в свой черед. Она также припоминала этот гармоничный голос и место, где слыхала его; но это могло быть следствием случайного совпадения: далматское пение настолько просто, настолько однообразно, настолько лишено прикрас, что легко можно обмануться сходством двух голосов.

Наконец, после недолгого раздумья, Лотарио пропел свою песнь целиком, продолжая аккомпанировать себе воздушными аккордами, издаваемыми арфой под его пальцами, и религиозная мелодия этих аккордов выразительно сочеталась с его пением. Когда он дошел до припева старого морлака, он вложил в него выражение такого скорбного сострадания, что все сердца были растроганы, и особенно сердце Антонии, у которой этот припев связывался с воспоминанием о тревоге и ужасе. Песнь Лотарио была давно допета, а ее последние слова и страшное имя Жана Сбогара еще звучали в душе Антонии.

VIII

Грезьте, невинные создания, и отдыхайте в тихом сне, убаюкивающем ваши чувства: в недалеком будущем вас ожидают, увы! печальные ночные бдения и жестокая бессонница.

Мильтон

В числе предположений, чередовавшихся в уме г-жи Альберти после этого вечера, было одно, достаточно правдоподобное для того, чтобы поразить заурядное воображение, и в то же время не лишенное романтичности, которую г-жа Альберти обыкновенно искала в

своих догадках. Остальные ее предположения были так плохо обоснованы, что она не замедлила остановиться на этом последнем, тем более, что оно льстило самому приятному и основному ее чувству — ее любви к Антонии. Мысль о том, как пристроить нежно любимую сестру, занимала ее беспрестанно. Она решила ничем не пренебрегать, лишь бы обеспечить ее счастье, и готова была подчинить этой единственной цели все другие соображения. Огромное наследство, которое г-жа Альберти должна была со временем оставить Антонии, могло возбудить алчность толпы искателей ее руки, и г-жа Альберти не хотела, чтобы жизнь ее сестры зависела от недостойного человека, любовь которого явилась бы спекуляцией, а супружество — торговой сделкой. Она решила располагать рукою Антонии, лишь сообразуясь с чувствами, зарождение которых она надеялась увидеть в ней, так как была почти уверена, что сердце Антонии, руководимое суждением и опытом ее второй матери, не может ошибиться. Несколько молодых людей, с большим состоянием или очень родовитых, тщетно становились в ряды искателей. Ни одному из них не удалось сосредоточить на себе внимание Антонии, и г-же Альберти, внимательно прислушивавшейся к малейшим движениям этой наивной и бесхитростной души, ни разу не удалось подстеречь врасплох ее тайну. Лотарио, наоборот, повидимому, с первого взгляда произвел на нее глубокое впечатление, которое одно могло объ-

яснить странную сцену у фортепиано. Сам Лотарио казался тогда не менее взволнованным, смущенным и охваченным сильным чувством, и мысль, что такой человек, столь прославленный блеском ума, разнообразием талантов, мягкостью и благородством характера, величественностью манер и чистотой нравов, мог бы сделаться супругом Антонии, была для г-жи Альберти самой сладостной мечтой. Однако кто он такой, этот Лотарио? И как завязать столь серьезные отношения с незнакомцем, который, по общему мнению, упорно окружает себя самой подозрительной таинственностью? Этот вопрос тревожил г-жу Альберти очень недолго. Вскоре она нашла объяснения всему, и счастье ли помогло ей или уменье, но ей удалось связать эти объяснения с главной своей мечтой и придать им столько правдоподобия, что даже Антония, которая не всегда смотрела на вещи глазами сестры, ничего не возразила и не ответила. Правда, ее сердце начало увлекаться этим предположением и желать его подтверждения, но не потому, чтобы она почувствовала к Лотарио прилив нежной симпатии, свидетельствующей о потребности любить, необъяснимое влечение, заставляющее перестать быть самим собой, чтобы жить жизнью другого; то, что она испытывала, не имело еще этого оттенка; это было, скорее, увлечение покорной души, безропотность слабого создания, ищущего лишь покровительства, добровольное подчинение застенчивого и чувствительного существа тому, кто

ему внушает доверие и уважение. Таким показался ей Лотарио, и первый взгляд этого молодого человека остановился на ней с такой властностью, что ей казалось, будто с этого момента он получил все права над ее судьбой.

Я не сказал до сих пор, каково было предположение г-жи Альберти. Она думала, и довольно основательно, что если устранить из рассказов о Лотарио все смешное и нелепое, что народные толки прибавили к ним, то станет вероятным, что его воспитание и роскошь вполне соответствуют его происхождению и состоянию; что если у него и имеются причины скрывать свое имя и общественное положение, то это причины лишь временные, что в этой маскировке нет ничего тревожного для любви Антонии, достойной самого блестящего супружества; что, наоборот, желание поразить ее внимание, приблизиться к ней и привлечь ее сердце соображениями, не имеющими ничего общего с теми, какие определяют большинство браков, было, вероятно, главной причиной той показной таинственности, в которую желал облечься Лотарио; что самые необычайные, самые необъяснимые факты, приписываемые ему, являются лишь сплошной выдумкой, ловко внушенной слугам Антонии подосланными лицами, с намерением увеличить неуверенность, в которой желали ее держать; и эта последняя догадка сама по себе не лишена была некоторых оснований, ибо невозможно было скрыть от себя, что Лотарио принимал большое участие в последних событиях жизни Антонии.

Сопоставив все, легко было прийти к убеждению, что он был тот самый человек, который, напевая морлацкий припев, прошел около нее при возвращении из Фарнедо, и что этот молодой человек попал в Триест не случайно. Привидения, так часто тревожившие Антонию и внушавшие столько беспокойства г-же Альберти, пока она видела в них обман больного воображения, также могли происходить от этой же самой причины. Если она преувеличивала их или изменяла некоторые обстоятельства, то это свойственно слабым, трепещущим душам и душам нежным, предполагающим, что они неспособны никого заинтересовать. Но событие в Дуино все-таки оставалось необъяснимым. Как могли разбойники, идущие на грабеж и убийство, отступить при одном только появлении молодого армянского монаха, если бы этот человек, грозный своей храбростью и, быть может, своей славой, не внушил им непобедимого ужаса, выскочив из кареты, где г-жа Альберти предоставила ему место? Несомненно, он многих из них сбил с ног вокруг себя, прежде чем их разогнать, а затем, оставшись в нерешительности среди ночи на дороге, по которой ему никогда не приходилось проезжать, не смог уже нагнать своих спутников. Кто же был этот монах, вооруженный вопреки уставу своего ордена и жертвующий собою с такой храбростью и самозабвением ради каких-то чужестранцев, как не переодетый любовник, решивший спасти Антонию или умереть за нее? Если благочестивое видение

кучера было заблуждением простого и темного человека,— что казалось несомненным,— то каким объяснением можно было бы заменить предположение г-жи Альберти? Оставались кое-какие сомнительные и непонятные стороны; но было бы удивительно, если бы их не имелось в жизни человека, стремящегося сеять вокруг себя недоумение и таинственность и обладающего необходимой ловкостью для подготовки, сочетания и применения употребляемых им с этой целью средств. Лотарио любил, боготворил Антонию, и притом все его действия выдавали человека настолько рассудительного и просвещенного, что невозможно было приписать кажущуюся странность некоторых его поступков какому-то изъяну его умственных способностей. У него были свои основания так поступать; зачем же искать их прежде времени? Для г-жи Альберти важно было получше узнать Лотарио, путем более близкого знакомства увериться в совершенстве характера, приписываемом ему общим мнением, и увидеть собственными глазами проявление чувств, которые она лишь подозревала в нем до сих пор. Лотарио не избегал тех многолюдных собраний, где каждый является данником своего таланта. Но он избегал бывать в частных домах, где требуется доверчивость и искренность, и очень редко случалось, как правильно заметил Маттео, что он соглашался появиться в таком доме больше одного раза. Тем не менее, он поспешно воспользовался представившимся случаем посетить г-жу

Альберти и ее сестру; и эта странность, тотчас же всеми отмеченная, освободила Антонию от многих докучливых притязаний. Визит Лотарио имел вид серьезного намерения, а такое намерение Лотарио способно было устранить даже тех, кто мог бы с ним соперничать в некоторых отношениях, потому что на его стороне оставались еще преимущества, ценимые не только толпой, но даже наиболее увлеченными блеском и суетой женщинами, а именно — мужественная душа, внушительный характер и замкнутая жизнь.

Как мы видели, впечатление, испытанное Антонией при виде Лотарио, не походило на те, что предвещают рождение первой любви в заурядных сердцах. Незначительное само по себе обстоятельство, действие которого, однако, еще не совсем исчезло: странный призрак Лотарио, появившийся в зеркале,— привносило в это первое впечатление нечто тревожное и неизъяснимо страшное. Интерес, с которым она относилась к Лотарио, влечение, устремлявшее ее к нему, не являлось менее властным оттого, что было менее сладостно. Это влечение носило печать фатальности, которая изумляла, ужасала иногда Антонию, но от которой она не пыталась защищаться, потому что г-жа Альберти одобряла ее чувство и находила даже некоторое удовольствие в том, чтобы поддерживать его. Она удивлялась, однако, что любовь так отличается от представления, которое она составила себе о ней по нежным и страстным картинам романистов и

поэтов. Она видела в любви пока еще только суровую и грозную цепь, обвивавшую ее нерушимыми оковами, бремя которой она тщетно старалась бы стряхнуть с себя. Только когда Лотарио, отвлекшись ради нее от своих мрачных мечтаний, на некоторое время снисходил с милой непринужденностью к незатейливым дружеским беседам, когда хмурая гордость, когда страдальческая напряженность ума, придававшая его лицу такое величественное и в то же время такое печальное достоинство, уступала место милой беспечности, когда улыбка расцветала на этих устах, так давно утративших привычку улыбаться, и придавала его суровым чертам искреннюю и чистую ясность,— Антония, охваченная неведомой ей до тех пор радостью, начинала кое-что понимать в счастье любить существо себе подобное и быть им любимой безраздельно; все тот же Лотарио вызвал эту радость к жизни, но это был Лотарио, лишенный чего-то странного и ужасающего, что тревожило ее нежную душу. Правда, эти мгновения бывали редки и быстро проходили; но Антония наслаждалась ими с таким упоением, что уже не желала иного счастья; и она так плохо умела скрывать свои чувства, что Лотарио не мог долго заблуждаться. С первого раза, как он сделал это открытие, обнаружилось, что оно не без горечи для него. Лоб его затуманился, грудь вздымалась, он крепко прижал руку к глазам и вышел. С этих пор он стал еще реже улыбаться, а когда случалось ему улыбнуться, он

торопливо обращал на Антонию встревоженный и печальный взор.

Его любовь к ней не была больше тайной. Чувствовалось, что все его мысли, все его слова, все его поступки относятся к ней, что она — единственная мечта и единственная цель его жизни. Г-жа Альберти не сомневалась в этом, а Антония говорила иногда то же самой себе в порыве гордости, которую ей трудно было подавить. Но любовь Лотарио, отмеченная особой печатью, как и вся жизнь этого непостижимого человека, не имела ничего общего с чувством, носящим в обществе то же название. Это было страстное влечение, тяжелое и вдумчивое, скупое на проявления и восторги, которое, удовлетворяясь малым, сосредоточивалось в себе самом с чрезвычайной скрытностью каждый раз, когда возникало опасение, что оно будет слишком ясно понято. Огненность его взглядов часто выдавала его. Но благодаря неизъяснимому выражению целомудренного и нежного чувства, сменявшего вскоре эти мимолетные приступы страсти, Лотарио не казался влюбленным. Можно было бы сказать, что это отец, у которого осталась только одна дочь, единственная дочь, на которой он сосредоточил все нежные чувства, что̀ некогда делил между остальными своими детьми. Тогда в его страсти к Антонии раскрывалось нечто большее, нечто более могучее, чем любовь,— стремление к такому благосклонному и доброжелательному покровительству, каким можно вообразить себе только

покровительство ангела света, находящегося на страже добродетели и сопутствующего ее от колыбели до гроба. Это также было своеобразной властью, проявляемой им над девушкой, и эту власть нельзя было ни с чем сравнить в мире человеческих отношений. Нежное и несколько суеверное воображение Антонии не забыло мысли об ангеле среди множества предположений, которые непонятная жизнь Лотарио заставляла ее поочередно составлять и отвергать; но она забавлялась этой мыслью наедине с собой и с г-жей Альберти, как пустою мечтой. В своих беседах они называли Лотарио «Ангелом Антонии».

IX

Увы! самая сладостная мысль, которая может утешить мое сердце, это мысль о смерти! О, не обмани меня, единственная оставшаяся у меня надежда Кажется мне, что теперь я осмелился бы молить моего судью уничтожить меня. Кажется мне, что я нашел бы его теперь более расположенным внять моим мольбам. Тогда, — о какая восхитительная мысль!—тогда меня не стало бы. Я вновь впал бы в нерушимый покой небытия,—был бы вычеркнут, изъят из числа существ, забыт всеми созданиями, ангелами и самим богом. Боже всемогущий! Вот я! Благоволи возвратить меня в хаос, из которого ты извлек меня.

Клопшток

Однажды, на закате солнца, Антония вошла в собор св. Марка, чтобы помолиться. Последние отблески сумерек, проникавшие сквозь

расписные окна, умирали под обширными сводами храма и совсем потухали в уединенных уголках отдаленных приделов. Несколько умирающих отсветов едва виднелось на выступающих частях мозаики свода и стен. Оттуда тени, все увеличиваясь и все более и более сгущаясь, спускались вдоль мощных колонн храма и, наконец, наводняли глубоким и неподвижным мраком неровную поверхность плит, морщинистых, как окружающее их море, которое часто доходит до этого святого места, отвоевывая свою власть над тем, что захвачено человеком.

В нескольких шагах от себя она заметила коленопреклоненного мужчину, поза которого свидетельствовала об озабоченной душе. В ту же минуту один из причетников пришел поставить зажженную лампаду перед чудотворным образом, висевшим в этом месте, и поколебленное этим движением пламя распространило вокруг себя слабое и мимолетное сияние, которого было тем не менее достаточно, чтобы Антония узнала Лотарио. Он стремительно поднялся и чуть было не исчез, когда Антония, забежав вперед, столкнулась с ним на паперти. Она взяла его под руку и шла некоторое время молча; потом в порыве, полном нежности, сказала ему:

— Что же это, Лотарио! Что за тревога терзает вас? Неужели вы стыдитесь того, что вы христианин? Разве эта вера столь недостойна сильной души, что вы не решаетесь признаться в ней своим друзьям? Что касается

меня, то самым большим моим огорчением, уверяю вас, было сомнение в вашей вере, и я чувствую, что освободилась от смертельного беспокойства с тех пор, как убедилась, что мы признаем одного и того же бога и ожидаем одного и того же будущего.

— Увы! что говорите вы, дорогая Антония! — ответил Лотарио. — И зачем моя жестокая судьба привела к этому объяснению? Но я не уклонюсь от него: слишком ужасно обманывать такую душу, как ваша. Человек, быть может, несовершенный от природы, не верящий религии, в которой он родился, и еще более несчастный тем, что не понимает ни великого разума, управляющего миром, ни бессмертной жизни души, — более достоин сострадания, чем отвращения. Но, если бы он скрывал свое неверие под притворным исполнением обрядов благочестия; если бы он поклонялся тому, чему поклоняются все, лишь для того, чтобы всех обманывать; если бы его гордый разум отвергал религиозный культ в то самое время, когда он вместе с верующими повергается ниц, — он был бы чудовищем лицемерия, самой вероломной и отвратительной из тварей. Взгляните лучше в мое сердце во всей его немощи и во всем его ничтожестве. Колеблемый с детства между жаждой веры и невозможностью верить, мучимый стремлением к иной жизни и нетерпением возвыситься до нее, но преследуемый убеждением в небытии, словно фурией, уцепившейся за мою жизнь, — я долго, беспрестанно, всюду искал

того бога, к которому взывает мое отчаяние,— в церквах, соборах, мечетях, в школах философов и священников, во всей природе, указующей мне на него и отказывающей мне в нем. Когда поздняя ночь позволяет мне проникнуть под эти своды и смиренно преклониться никем не замеченным на ступеньках пред алтарем, я прихожу сюда молить бога явить мне себя. Мой голос умоляет его, мое сердце призывает его, но ничто мне не отвечает. Еще чаще среди лесов, на прибрежных песках, лежа в покинутом на произвол моря челноке — ибо тогда я более спокоен, что не ввожу в заблуждение какого-нибудь свидетеля проявлениями своих чувств, которые могут быть им неправильно истолкованы,— взываю я к небесному свету, сладостное воздействие которого излечило бы меня от всех моих мук. Сколько раз и с каким умилением, о, небо, повергался я ниц перед необъятным миром, вопрошая его об его творце! Сколько слез пролил я в ярости, когда, вновь погружаясь в свое сердце, находил там только сомнение, неведение и смерть!.. Антония, вы дрожите, слушая меня. Простите меня, пожалейте и успокойтесь. Безрассудство несчастного, отверженного небом, не является доказательством против веры чистосердечной души. Верьте, Антония! Ваш бог существует, ваша душа — бессмертна, ваша религия — истинна. Но бог распределил свои милости и свои кары в чудесном порядке, с разумной предусмотрительностью, царящими во всех его творениях. Он дал предведение бессмертия чи-

стым душам, для которых создано бессмертие. Душам же, обреченным им заранее на небытие, он явил только небытие.

— Небытие! — воскликнула Антония, — что вы говорите, Лотарио?! О, друг мой, ваша душа не обречена на небытие! Вы уверуете — хотя бы лишь на мгновение, на одно мгновение. Но наступит миг, когда бессмертие даст себя познать как разуму Лотарио, так и его сердцу. Может ли душа Лотарио быть смертной, всемогущий боже?! И к чему тогда было бы все сотворенное, если бы душа Лотарио должна была умереть? О, что касается меня,— продолжала она с бо́льшим спокойствием,— я хорошо чувствую, что буду жить, что не умру, что в будущем со мною будут все, кто был мне дорог,— отец, мать, добрая сестра моя... и я знаю, что все страдания самой тяжелой жизни, все тягостные испытания, которым провидение может подвергнуть слабое создание во время краткого пути от рождения к смерти, никогда не приведут меня к полному отчаянию, потому что мне остается вечность для того, чтобы любить и быть любимой.

— Чтобы любить, Антония?— сказал Лотарио.— Какой человек достоин вашей любви?

Он говорил это, входя в гостиную г-жи Альберти, которая ему многозначительно улыбнулась. Лотарио тоже улыбнулся, но не той очаровательной улыбкой, которую иногда благотворное рассеяние похищало у него, а горькой и скорбной, казавшейся чуждой его лицу.

Антония начала находить объяснение глубокой печали Лотарио. Она понимала, что этот несчастный, обойденный сладчайшей милостью провидения — счастьем познания бога и любви к нему — и брошенный на земле, как странник без цели, должен был терпеливо доживать свою бесполезную жизнь и ожидать лишь минуты ухода из нее навсегда. Кроме того, казалось, что он одинок в мире, так как никогда не упоминал о родителях. Если бы он знал когда-нибудь свою мать, то, конечно, упомянул бы о ней. Человека, не связанного никаким чувством, не могла не пугать и не страшить та безмерная пустота, куда была погружена его душа. И Антония, никогда не подозревавшая, что человек может впасть в такую духовную нищету и одиночество, думала о Лотарио не без ужаса. Она с сердечной тоской размышляла над мыслью Лотарио, что некоторым существам, отвергнутым богом, заранее предназначено небытие, составляющее их несчастье на земле, так как они уверены, что никогда не возродятся в другом мире. Впервые думала она об этом ужасном небытии, о глубоком, неизмеримом ужасе этой вечной разлуки; она ставила себя на место несчастного, который видит в жизни только непрерывный ряд частичных смертей, кончающихся полной смертью, а в восхитительнейших привязанностях — лишь мимолетную мечту двух тленных сердец. Она представляла себе ужас супруга, когда он, сжимая в своих объятиях горячо любимую супругу, вдруг вспомнит, что

через несколько лет, может быть через несколько дней, между ними встанут века и что каждое мгновение настоящего дается в счет бесконечного будущего. И в этом скорбном размышлении она испытывала то же чувство, какое испытывает бедный, слабый, заблудившийся в лесу ребенок, который, будучи не в силах отыскать тропу и вернуться на свой след, от блужданий к блужданиям, от поворотов к поворотам приходит к крутому склону бездны. Погруженная в эти размышления, словно в томительный сон, поднялась она с места, в то время как г-жа Альберти и Лотарио глядели на нее молча,— и пошла к себе в комнату. Едва она вошла туда, как ее сердце, освободившись от всякого внешнего стеснения, покорилось без сопротивления тяжелой подавленности, угнетавшей его, и отдалось возможности страдать с своего рода сладострастием. До той поры страсти имели мало власти над нею, и даже любовь к Лотарио, развитие которой г-жа Альберти с удовольствием в ней наблюдала, не проявлялась теми грозами, которые сопровождают восторженные чувства, усиливают жизненную деятельность и заставляют все чувства достигать наивысшей мощи. Она поняла, что любит Лотарио, и это убеждение, полное сладости и непринужденности, нисколько не мешало ее счастью. Но мысль о смерти или обреченности на вечные муки... обреченность, смерть Лотарио поднимали в ее сердце самые мятежные думы и наполняли его замешательством и ужасом.

— Как! — говорила она,— за этой жизнью, так быстро проходящей, ничто, ничто больше не ожидает его? И он так думает? И он это говорит? И он грозит не свидеться с нами никогда там, где все встретятся, чтобы больше не расставаться? Небытие! Что же такое небытие? И что такое вечность, если Лотарио в ней не будет?

Стараясь отдать себе отчет в этой мысли, она приблизилась, сама того не замечая, к распятию, и ее рука оперлась на одну из перекладин креста.

— Боже мой! Боже мой! — воскликнула она,— ты, владеющий пространством и вечностью, ты, всемогущий и любвеобильный, неужели ты ничего не сделал для Лотарио?

Произнося эти слова, Антония почувствовала, что падает в обморок, но была приведена в себя прикосновением руки, поддерживающей ее,— руки г-жи Альберти. Г-жа Альберти покинула Лотарио, чтобы последовать за сестрой, так как встревожилась, не захворала ли она.

— Успокойся, бедная Антония,— сказала ей г-жа Альберти:— в числе твоих предков было несколько восточных князей, а твое состояние исчисляется миллионами! Ты будешь супругой Лотарио, хотя бы он был сыном короля!

— Что в этом? — ответила расстроенная Антония.— Что мне в этом, если он не воскреснет?

Г-жа Альберти не могла понять смысла этих слов и горестно покачала головой, как человек, находящий наперекор себе подтвер-

ждение своему прискорбному предположению, которое он долго и тщетно отвергал.

— Несчастное дитя! — говорила она, сжимая Антонию в своих объятиях и орошая ее слезами.— Сколько горя причиняешь ты своей сестре! О, если небо обрекло тебя этому несчастью, пусть я умру прежде, чем стану его свидетельницей!

X

Не успеешь насладиться, как уже приходит разочарование; остаются еще желания, но нет больше иллюзий. Воображение богато, плодовито и восхитительно; жизнь бедна, бесплодна и лишена очарования; живешь с полным сердцем в пустом мире и, не насладившись ничем, разуверяешься во всем.

Шатобриан

Дружеская близость с Лотарио сделалась потребностью для Антонии; надежда вновь привести его сердце к вере воспламеняла ее усердием, полным нежности, и она уже глубоко любила Лотарио, не признавшись еще

себе в этой любви. Г-жа Альберти, которая все более тревожилась за судьбу молодой девушки, не имеющей опоры и вступающей в свет с хрупким организмом, шатким здоровьем и чрезвычайным расположением болезненно переживать все сильные впечатления, не менее Антонии дорожила этой близостью. Она не видела иной возможности обеспечить Антонии немного счастья, как только помогая ей найти в глубокой привязанности защиту от жизненных невзгод. Она считала полезным призвать в помощь материнской любви, которую она чувствовала к своей сестре, другое чувство, еще более нежное и более предусмотрительное, каким и было, без сомнения, чувство, внушенное Антонией Лотарио, хотя по трудно объяснимой странности он избегал рассказывать кому бы то ни было о своих столь очевидных переживаниях.

Казалось, что он создал себе в более возвышенном мире чудный идеал совершенства, о котором лицо и душа Антонии лишь напоминали ему, и что если он и останавливал на ней свои взоры с таким живым и нежным вниманием, то только потому, что ее черты будили в нем смутное воспоминание о том, чего не было на земле. Это обстоятельство поддерживало в их отношениях какую-то тягостную таинственность, которая угнетала всех, но которую одно только время могло рассеять. Антония, впрочем, была вполне счастлива дружбой такого человека, как Лотарио. И ее робкая и недоверчивая душа, хорошо пони-

мавшая возможность другого счастья, не осмелилась бы желать его. Ее жизнь становилась краше от мысли, что она, Антония, заполняет жизнь Лотарио и что она заняла в помыслах этого необыкновенного человека место, которое ей, очевидно, не приходится ни с кем делить. Что касается Лотарио, то его грусть усиливалась с каждым днем, и усиливалась именно от того, что, казалось, должно было бы ее рассеять. Часто, пожимая руку г-жи Альберти, покоя свой взор на милой улыбке Антонии, заговаривал он с подавленным вздохом о своем отъезде, и ресницы его увлажнялись слезами.

Это общее им грустное настроение удаляло их от общественных мест и шумных увеселений, которым венецианцы предаются бо̀льшую часть года. Они проводили обычно время в прогулках по лагунам, на разбросанных здесь островах или на Терра-Ферма в красивых селениях, тянущихся вдоль прелестных берегов Бренты. Но из всех мест, где они любили встречаться, ни одно не представлялось им столь очаровательным, как узкий и продолговатый остров, называемый обитателями Венеции Лидо, или поморьем, потому что им, действительно, заканчиваются лагуны со стороны открытого моря и он является как бы их пределом. Природа, кажется, придала этой местности особый отпечаток печали и торжественности, пробуждающий одни только нежные чувства, вызывающий лишь серьезные и мечтательные думы. Только со стороны Вене-

ции Лидо покрыто деревьями, красивыми плодовыми садами, простыми, но живописными домиками. В погожие праздничные дни Лидо является местом гулянья простонародья, которое приходит сюда отдохнуть от трудовой недели в играх и плясках на лужайках. Отсюда Венеция открывается глазам во всем своем великолепии. Усеянный гондолами канал, представляющий, благодаря своей ширине, подобие огромной реки, омывающей подножье Дворца Дожей и ступени собора св. Марка. Сердце сжимается от горькой мысли, когда различаешь под его величественными куполами почерневшие от времени стены государственной инквизиции и когда пытаешься подсчитать про себя бесчисленные жертвы беспокойной и ревностной тирании, поглощенные этими казематами.

Когда поднимаешься на вершину Лидо, тебя привлекает вид дубовой рощи, которая занимает всю самую высокую его часть и расстилается зеленой завесой над пейзажем или разбивается местами на свежие и тенистые купы. С первого взгляда можно подумать, что это место, благоприятное для чувственных наслаждений, хранит лишь любовные тайны. Оно посвящено тайнам смерти. Множество рассеянных надгробных камней, испещренных странными и непонятными для большинства гуляющих буквами, кажется, оповещает о последнем местопребывании народа, стертого с лица земли и не оставившего других памятников. В этой величавой мысли, соединяющей, сливающей воедино мысль о краткости жизни

и о древности мира, есть что-то более глубокое и более суровое, чем то, что рождается при взгляде на надгробный камень человека, которого мы знали еще в живых; но мысль эта — лишь заблуждение. Не успели вы пройти нескольких шагов, как встречающийся вам камень посветлее, украшенный в более современном вкусе и часто покрытый еще не совсем увядшими цветами, возложенными здесь супружеской любовью или сыновним чувством, рассеивает это заблуждение. Это — неведомые буквы, заимствованные из языка народа, которому бог обещал, что ему не будет конца, и который живет отдельно от людей, среди людей, с прахом которых он не имеет даже права смешивать свой прах. Это — еврейское кладбище. Когда спускаешься в противоположную от Венеции сторону, деревья сразу становятся реже; запыленная и поблеклая трава виднеется только кое-где; наконец, всякая растительность исчезает, и нога погружается в легкий зыбучий серебристый песок, покрывающий всю эту сторону Лидо и приводящий к открытому морю. Здесь вид совершенно меняется, и тщетно блуждающий в безграничном пространстве взор ищет тех пышных сооружений, изящно разукрашенных зданий, проворных гондол, которые за миг перед тем развлекали его таким множеством блестящих и заманчивых впечатлений. Не видно ни единого рифа, ни одной песчаной отмели, на которых мог бы отдохнуть взор; нет больше гладкой и темной поверхности тихих каналов, зыбя-

щихся только под легким веслом гондольера и украшающих своим всегда ровным течением улицы, где каждый дом — дворец, достойный королей. Здесь бушуют волны вольного моря, моря, не признающего человеческих законов и безразлично омывающего богатые города или бесплодные и пустынные песчаные побережья.

Этот строй мыслей был тягостен для робкой души Антонии, но мало-по-малу она свыклась с самыми мрачными картинами и образами, потому что знала, что они нравятся Лотарио и что он с приятностью вкушает прелесть проникновенной беседы лишь в диких и уединенных местах. Будучи врагом светских форм, стесняющих, подавляющих излияние его пламенной чувствительности, он становился вполне самим собой только когда переступал круг общества и когда наедине с природой и дружбой мог дать простор порывистости своих мыслей, часто странных, всегда решительных и вольных, иногда величественных и диких, как пустынные места, вдохновлявшие его. Тогда особенно Лотарио казался чем-то бо́льшим, нежели человек; освободившись от условностей, умаляющих человека, он словно вступал в обладание особым миром и отдыхал от гнета общественного уклада в местности, куда этот уклад еще не проник. Прислонившись к дикому дереву, на земле, которую никогда еще не попирала нога путешественника, он был прекрасен, как Адам после грехопадения. Много раз Антония наблюдала его таким в нагорной части Лидо,

где находится еврейское кладбище. В то время, как он поочередно переносил свои взгляды с Венеции на море, его лицо, столь подвижное, столь оживленное, столь выразительное, передавало то, что происходило в нем, с такой ясностью и точностью, как слово. В его взглядах можно было прочитать тягостное сопоставление этих могил — посредниц между мятежным миром и вечным однообразием моря — с пределом человеческой жизни, лежащим также, быть может, между волнениями без цели и бездействием без конца. Его взгляд скорбно останавливался на крайних границах горизонта по ту сторону залива, словно стремился еще больше раздвинуть их и найти за ними какое-нибудь опровержение небытия.

Однажды Антония, проникнувшись этой мыслью, словно бы он ей сообщил ее, бросилась к нему с могильного холмика, на котором сидела, и, схватив его за руку со всей силой, на какую была способна, воскликнула, указывая пальцем на неопределенную линию, где последняя волна сливалась с первым облаком:

— Бог, бог! Он — там!

Лотарио, не столько удивленный, сколько тронутый, что его поняли, прижал ее к груди.

— Если бы бога не было во всей природе, его можно было бы найти в сердце Антонии!

Г-жа Альберти, свидетельница всех их разговоров, меньше интересовалась беседами, вращавшимися вокруг предметов глубокого размышления, ибо сама она верила без усилия,

наивною верой, и никогда не подозревала, что можно взять под сомнение идеи, на которых покоятся счастье и надежды человека. Некоторые обстоятельства давали ей повод думать, что религиозные мнения Лотарио не вполне согласуются с мнениями Антонии. Но она была далека от мысли, что это простирается до основных принципов ее верования, и потому этот маленький разлад между двумя сердцами, которые ей хотелось соединить, беспокоил ее очень мало. Она чувствовала, что, как бы превосходен ни был Лотарио, и он мог ошибаться, но она была уверена, что такой совершенный человек, как Лотарио, не может ошибаться вечно.

XI

Я скрежещу зубами, когда вижу совершающиеся несправедливости и преследования несчастных бедняков во имя правосудия и законов.

Гете

Однажды, когда их прогулка закончилась позднее, чем обыкновенно,— в час, когда темнота стала расстилаться на море и позволяла различать Венецию лишь по рассеянным огонькам ее зданий,— в безмолвии, в котором покоилась вся природа и в котором ухо легко улавливало малейший шум, слух Антонии был внезапно поражен необыкновенным воплем, не

являвшимся, впрочем, для нее новым и заставившим ее задрожать. Она вспомнила, что слышала его в Фарнедо в день встречи со старым морлацким поэтом, потом в окрестностях замка Дуино, когда армянский монах бросился на разбойников и рассеял их перед собою. Она невольным движением придвинулась к сестре и глазами искала Лотарио, стоявшего на носу гондолы. Немного спустя шум возобновился, но он доносился с места гораздо более близкого, и в то же мгновение гондолу сильно толкнуло, словно она была задета другой. Лотарио не было больше в гондоле. Антония вскрикнула и стремительно поднялась, зовя его. Гондола стояла неподвижно. Сильный шум, происходивший вблизи, привлек внимание Антонии, и ее испуг сменился любопытством. В этом неясном шуме Антония отчетливо различила голос Лотарио, властно говорившего среди кучки людей, находившихся на барке. Она тотчас же поняла, что эти люди были переодетые полицейские, сопровождавшие арестанта в Венецию. Они жаловались, что у них вырвали добычу. Действительно, негодуя на насилие, которое совершалось над этим несчастным, и видя в грубом обращении, которому тот подвергался, лишь отвратительное злоупотребление силой, Лотарио бросился в барку и освободил неизвестного, столкнув его в море, откуда тот мог вплавь достигнуть соседнего берега. Сначала полицейские разразились упреками и угрозами, так как арестант был очень важ-

ный; имелось даже основание предполагать, что это был лазутчик Жана Сбогара, и они ожидали большой награды за его поимку; но они почтительно умолкли, узнав Лотарио, таинственное влияние которого служило в то переходное время уздой для всех злоупотреблений власти. Обратившись к ним с несколькими презрительными словами и бросив им горсть цехинов, он снова спокойно вернулся в гондолу, и его возвращение положило конец беспокойству Антонии. В то время как они въезжали в канал, странный вопль, предупредивший за несколько минут перед тем Лотарио, снова раздался с вершины еврейского кладбища. Антония подумала, что человек, только что вырванный Лотарио из рук полицейских, приплыв туда, дает знать об этом своему освободителю, чтобы показать, что благодеяние было ему оказано не напрасно. Лотарио, казалось, очень этому обрадовался, и чувство его передалось сердцу Антонии, которая, сквозь смутную боязнь, еще владевшую ею, любовалась совершенством души Лотарио; она видела его всегда готовым восстать против несправедливости и пожертвовать собой в случае несчастья. Она понимала, что эта безудержная горячность чувств подвергала его иногда опасности впасть во вредные крайности, но она не допускала, что можно порицать ошибки, основанные на столь благородных побуждениях.

Г-жа Альберти редко принимала гостей, заметив, что этот род развлечения, состоящий

обычно в обмене стеснительными для обеих сторон любезностями, не особенно нравится Антонии, вкусами которой она руководствовалась во всем. Но в этот день, против обыкновения, она ждала довольно многочисленное общество, съехавшееся почти одновременно с нею. Слух о только что происшедшем странном случае уже распространился среди гуляющих на площади св. Марка, и народное мнение, всегда благосклонное к Лотарио, выставляло его поведение в самом блестящем свете. Венецианский народ, с виду один из самых податливых и легко порабощаемых, народ этот, такой покорный, такой кроткий, такой ласковый к своим властителям, быть может, больше всякого другого дорожит своей свободой, и в то смутное время, когда шаткая власть переходила из рук в руки по воле случая, он горячо привязывался ко всему, что, казалось, способно было обеспечить его независимость или защитить ее при отсутствии твердых установлений. Малейшее посягательство на безопасность отдельных лиц пробуждало его недоверчивость и раздражительность, и он был менее склонен замечать в самых законных действиях власти то, что она предпринимала для обеспечения его безопасности, чем то, что она сможет когда-нибудь предпринять для уничтожения его независимости.

Имя Жана Сбогара достигло Венеции как имя опасного и грозного человека. Но оно никогда не вызывало здесь тревоги, потому что шайка Жана Сбогара, слишком

малочисленная, чтобы пытаться напасть на большой город, наносила опустошения,— в которых ее упрекала молва,— лишь нескольким деревням на Терра-Ферма, которые для жителей лагун были столь же чужими, как если бы их отделяли от них необъятные моря. Лазутчик Жана Сбогара не являлся врагом для Венеции, и вообще в поступке Лотарио видели лишь проявление решительного благородства, казавшегося таким естественным в его характере и уже завоевавшего ему любовь низших классов и всеобщее уважение. Разговор в кружке г-жи Альберти, естественно, обратился к этому предмету, несмотря на видимое замешательство Лотарио,— скромность его не выносила ни малейших похвал. И ничто не предвещало конца этому разговору, который при венецианской вежливости становился неисчерпаемым, к великому неудовольствию того, о ком шла речь, когда Антония, обеспокоенная смущением, написанным на лице Лотарио, поспешила воспользоваться менее благоприятной стороной происшествия, чтобы избавить Лотарио от тягости назойливых восторгов.

— А что, если синьор Лотарио,— сказала она улыбаясь,— обманулся насчет предмета своего благородного заступничества; если его дурное мнение о сыщиках оказалось на этот раз ошибочным; если он не только помешал исполнению закона,— что всегда достойно порицания,— но и укрыл от заслуженного наказания одного из тех преступников, которых отвергают все слои населения, и вернул напуган-

ному обществу одно из чудовищ, отмечающих свое существование одними лишь злодеяниями? Что, если он освободил одного из дружинников Жана Сбогара... или — я дрожу при мысли об этом — самого Жана Сбогара?..

— Жана Сбогара! — прервал Лотарио с оттенком беспокойства и удивления.— Но кто мог бы подумать,— продолжал он,— что Жан Сбогар или даже один из его сообщников посмеет появиться в Венеции без цели, без определенной корысти; ведь не в большом же городе эти разбойники могут открыто заниматься грабежом и убийством. Эта выдумка сыщиков слишком груба...

— Это бессмыслица!—воскликнула г-жа Альберти.— Можно себе представить, что какой-нибудь отважный изгнанник, глава какой-нибудь благородной партии, проникнет в город, где ему был вынесен приговор, где он был осужден на смерть и где его ожидает эшафот. Даже если эта попытка бесполезна для его дела, сколько различных возвышенных чувств способно толкнуть его на этот шаг! Но какое чувство, какая страсть может побудить жалкого вожака воров, сердце которого бьется только надеждой на добычу, пуститься в такое смелое предприятие? Уж конечно, не любовь. Счастливый или неудачливый в своих планах, но всегда уверенный, что способен внушить одно лишь презрение, от какой женщины мог бы он добиться внимания, если только не от одной из тех, ради которых стыдно вообще что-нибудь предпринимать? Найдется ли кто-

нибудь, кто способен понять возлюбленную Жана Сбогара?

— Действительно, это было бы странно,— сказал Лотарио.

— Впрочем,— продолжала г-жа Альберти,— кто знает, существует ли даже этот человек; не является ли его имя паролем какой-нибудь шайки, столь же презренной, как и все прочие, но достаточно ловкой, чтобы пытаться облагородить свою низость блеском некоторой славы?

— Насчет этого, сударыня,— сказал пожилой человек, внимательно слушавший г-жу Альберти, пока она говорила, и давно намеревавшийся ей ответить,— ваши сомнения неосновательны. Жан Сбогар существует вполне реально и даже немного мне знаком.

Кружок сомкнулся теснее, за исключением Лотарио, продолжавшего по своему обыкновению уделять разговору довольно поверхностное внимание,— не больше того, какого требует вежливость по отношению к беседе, предмет которой для всех одинаково безразличен.

— Я—далмат,—продолжал иностранец,—и родился в Спалато.

— В Спалато?— сказал Лотарио, приближаясь.— Я хорошо знаю эту страну.

— В окрестностях этого города и родился Жан Сбогар,— продолжал старик,— по крайней мере, если верить дошедшим до меня свидетельским показаниям, потому что даже имя это — не его имя. Он его принял, покидая семью, одну из самых благородных и известных

в наших краях, восходящую по прямой линии к албанскому князю. Я не скажу вам, что толкнуло его на этот поступок, но почти ребенком ушел он на турецкую службу, а затем принял участие в восстании сербов и быстро приобрел громкую военную славу. Ввиду того, что обстоятельства сложились неблагоприятно для его партии, он принужден был бежать, спасаясь от преследований. Говорят, он вернулся в Далмацию и узнал там, что лишен наследства. Привыкнув к бурной жизни и, повидимому, томимый мрачными и буйными страстями, он воспользовался первым подвернувшимся случаем, чтобы сделаться вечным бунтарем. Если бы он находился в одном из тех счастливых положений, когда деятельность и гений позволяют добиться всего, он приобрел бы, может быть, доброе имя. За недостатком же опасностей, дающих славу, он окружил себя иными, влекущими за собою лишь презрение и эшафот. Это человек, заслуживающий большого сожаления.

— Вы его видели? Вы видели Жана Сбогара?— спросила Антония.

— Я часто сжимал его в своих объятиях, когда он был ребенком,— ответил старик.— Тогда у него была кроткая, нежная душа и такое благородное и красивое лицо!

— Он был красив?!— воскликнула г-жа Альберти.

— Почему бы ему не быть красивым?— вполголоса сказал Лотарио.— Красивая наружность — выражение прекрасной души. А сколько

прекрасных душ изуродовалось, ожесточилось, опустилось под влиянием несчастья! Сколько детей, бывших гордостью своих матерей, сделалось отребьем и пугалом общества! Сатана накануне своего падения был прекраснейшим из ангелов... Но,— продолжал он, возвышая голос,— знавали ли вы Жана Сбогара в более зрелом возрасте?

— Лет до десяти или двенадцати,— сказал старый далмат,— и уже тогда он сделался мечтателем и отшельником. Я всегда думал, что, если бы мне довелось когда-нибудь встретиться с ним, я узнал бы его.

— Сохрани вас боже,— продолжал Лотарио,— узнать его на скамье убийц! Эта встреча была бы одинаково ужасна и для вас, и для него... потому что она вызвала бы в нем воспоминания молодости, обещаний которой он не оправдал, что, может быть, больше всего мучит его теперь.

— Право, Лотарио,— сказала Антония,— вы слишком склонны предполагать подобные чувства в других. Вы забываете, что в Жане Сбогаре они неизбежно должны были заглохнуть под влиянием его образа жизни и что его низкая и запятнанная душа уже не поняла бы подобных чувств, даже если допустить, что, как говорят, он когда-то мог их понимать.

Лотарио ласково улыбнулся Антонии, затем, обернувшись к остальным собравшимся и обращаясь особенно к старику, который только что говорил, сказал, тряхнув головой:

— Как несчастен на земле преступник, если им гнушаются такие возвышенные души, а у него нет повода оправдаться перед ними или смягчить суровость их приговора! Он представляется им каким-то чудовищем, поставленным по прихоти своей жестокой судьбы вне природы и лишенным всех человеческих черт. Это чудовище было брошено в ряды живых лишь для того, чтобы ужаснуть их и умереть. У этого несчастного не было родственников, у него не было и друзей. Его сердце никогда не билось чувством глубокой печали при виде таких же несчастных, как он сам. Он безучастно засыпал рядом с нищетой, которая бодрствует и плачет. Великий боже! До какой степени подобное предположение омрачило бы мое представление о строе человеческого общества, и без того столь печальном! О, я предпочитаю верить в ошибочность несправедливого приговора, в ожесточенность оскорбленного сердца, в противодействие благородного, но беспощадного тщеславия, возмутившегося против всего, что его оскорбляло, и проложившего себе кровавый путь среди людей, чтобы проходя обратить на себя внимание и оставить за собой след.

— Я думала об этом,— сказала взволнованная Антония, подойдя ближе к Лотарио и положив руку ему на плечо.

— Мысль Антонии,— продолжал он,— всегда небесное откровение. Что касается меня, то я часто чувствовал и хорошо понял, как горько может уязвить сильную душу обще-

ственное зло. Я понимаю, какие опустошения страсть, даже страсть к добру, может произвести порой в пылком и опрометчивом сердце. Есть люди, неистовые по расчету, буйные из корысти,— их лицемерная восторженность никогда не вызовет у меня сочувствия и не введет в заблуждение мой ум. Но до тех пор, пока я вижу, что безрассудно-смелый поступок, из ряда вон выходящий или жестокий, вызван честными побуждениями, я всегда готов сам повторить его, хотя бы он и был уже осужден правосудием.

Антония с некоторым ужасом отдернула свою руку; Лотарио удержал ее.

Человек пережил два очень различных состояния, но во второе из них он перенес некоторые воспоминания о первом. И каждый раз, когда сильное политическое потрясение клонит общество к естественному состоянию человека, он устремляется туда с невероятным пылом, потому что такова человеческая природа, всегда с неодолимой силой влекущая его к возможно более полному наслаждению свободой. По своим последствиям это чувство может быть ужасным. Оно почти всегда нелепо в своих расчетах, но оно свойственно человеку и само по себе благородно и трогательно. Совсем иначе обстоит дело в таком обветшалом обществе, как то, в котором мы живем, где власть на некоторое время поделена между несколькими одинаково непрочными учреждениями, обладающими лишь временным правом или не имеющими других прав,

W.B.

кроме права дерзости, и где власть ежеминутно грозит выскользнуть из рук смельчаков, чтобы попасть в руки подлецов и быть разделенной между последними негодяями.

И что же? Когда народ дошел до такого положения, когда, отторгнутый неодолимой силой от своих старинных обычаев и старинных законов и не уверенный в своем существовании, он убаюкивает свою жалкую агонию в объятиях лицемерных обманщиков, льстящих ему, чтобы унаследовать его жалкие пожитки; когда общество, близкое к разрушению, покоится в среде негодяев почти исключительно на корыстных расчетах, а в среде честных людей — на кое-каких правилах морали, которые скоро перестанут существовать,— тогда запрещают сильному человеку, находящему в самом себе и в воодушевлении, которое он способен передать другим, гарантию, единственную гарантию прав всего человечества... ему запрещают собрать все свои силы против духа разрушения, против поступательного движения смерти. Я хорошо знаю, что такой человек не поднимет знамени обыкновенного общества. Обыкновенное общество отвергло бы его, ибо он говорит с ним на языке, которого оно не понимает и который ему даже возбраняется понимать. Чтобы служить обществу, этот человек должен покинуть его, и война, которую он ему объявит, явится первым залогом той независимости, которую найдут со временем под его покровительством, когда рука, поддерживающая государство, будет совершенно от-

странена. Тогда эти презираемые разбойники, предмет отвращения и ужаса народов, превратятся в судей, а их эшафоты сделаются престолами.

— Это не парадокс,— продолжал Лотарио,— это вывод, извлеченный из истории народов и подтверждающийся примером многих веков. Как не усмотреть естественного порядка вещей в духе обновления, проявляющемся на исходе цивилизации и убивающем ее, чтобы обновить! Ибо, в конечном счете, нации обновляются только таким путем, по крайней мере если верить опыту.

Вы верите в провидение и осмеливаетесь порицать его пути! Когда вулкан очищает землю, покрывая ваши поля дымящейся лавой, вы говорите, что такова воля божья, но вы не верите, что бог облек особыми полномочиями этих кровавых и ужасных людей, людей, которые подтачивают, разбивают основания общественного строя с тем, чтобы перестроить его заново. Вспомните, кто были основатели новых обществ, и вы увидите, что эти люди были такими же разбойниками, как те, которых вы осуждаете. Кто были, скажите мне, эти Тезеи, Пирифои, Ромулы, отметившие переход от варварства к героическим векам, которые они возглавляли; Геркулес, имя которого осталось в почете у слабых потому, что у сильных никогда не было более страшного врага, и потому, что гнев его направлялся только на богов и королей? Жрецы освятили память о его трудах и сочли его достойным апофеоза,

хотя он был незаконнорожденным, вором, убийцей и самоубийцей. Я видел во время своего путешествия в Афины гору, на которой Марс был предан суду за убийство.

Пока Лотарио говорил, Антония сидела и смотрела на него с неизъяснимым чувством. Г-жа Альберти слушала его речи с меньшим вниманием, но она наслаждалась ими, как чем-то новым и необычным. И его мысли так увлекли ее, что она не сознавала, насколько они противоречат понятиям, в которых она была воспитана и которые внушал ей ее собственный разум.

Характер Лотарио, известный, впрочем, своей немного резкой независимостью и явной склонностью к мнениям, которые не могли ни встретить одобрения со стороны правящей власти, ни заслужить еще более постыдного одобрения толпы, придавал его выражениям острый и своеобразный интерес; его положение в свете было таково, что даже в самых причудливых и самых смелых его идеях усматривали лишь каприз воображения. Это впечатление было настолько всеобщим, что ему редко пытались противоречить. Все ценили излияния его сердца и безудержность его чувств, и никто не требовал от него в этом отчета. Разговор давно кончился, и Лотарио, задумавшись, не принимал больше участия в безразличной беседе, в холодном обмене незначительными фразами, последовавшем затем. Подперев рукой голову, он устремил мрачный взор на Антонию, которая, сама того

не замечая, пересела, чтобы быть ближе к нему, и казалась пораженной какой-то скорбной мыслью.

— Лотарио,— сказала она вполголоса, протягивая ему руку,— ваша любовь к слабым и несчастным побуждает вас иногда говорить вещи, которых вы, пораздумав, не одобрили бы сами. Остерегайтесь увлечений, которые при известных обстоятельствах могут сделаться гибельными для вашего счастья и для счастья тех, кто вас любит!

— Для тех, кто меня любит! — воскликнул Лотарио.— О, если бы я был любим! Если бы я мог быть любимым, если бы я знал свет, если бы женщина, достойная моего сердца, заглянула в него прежде, чем его иссушило горе... Какое странное предположение...

Антония придвинулась к нему еще ближе, чтобы лучше уединиться и лучше слышать его. Их руки соединились.

— Да,— продолжал Лотарио,— если бы женщина, предназначенная мне судьбой, допустила во мне чувство, похожее на любовь; если бы существо, похожее на Антонию, имеющее с нею хоть отдаленное сходство — как тень и действительность,— взяло меня тогда под свое сочувственное покровительство... если бы я мог, не оскверняя, вдыхать воздух, колеблемый складками ее платья или волнами ее волос; если бы губы мои осмелились сказать тебе: «Антония, я люблю тебя!»...

Общество расходилось. Трепещущая Антония перестала понимать свое положение. Она

сидела неподвижно; тем временем г-жа Альберти вернулась. Но Лотарио не изменил своих речей. Он повторял свою последнюю фразу с более мрачным выражением и, привлекая г-жу Альберти к сестре, горестно восклицал:

— Что вы делаете,— говорил он,— что вы делаете с Лотарио! Знаете ли вы Лотарио, или, вернее, этого незнакомца, этого случайного человека, не имеющего имени? А вы, сестра этого ребенка, знаете ли вы, что я люблю ее и что моя любовь влечет за собою смерть?

Антония горестно улыбалась. Эти мысли не укладывались в ее уме, но она видела в них тягостное предзнаменование.

Г-жа Альберти не удивлялась. Эти выражения являлись для нее только проявлением восторженной любви, которую, повидимому, чувствовал Лотарио и которую она часто представляла себе. Она пожала руку Лотарио, глядя на него с нежностью, чтобы показать ему, что от него самого зависит стать счастливым и что он не встретит препятствия своему желанию со стороны единственной особы, которая еще может оказать некоторое влияние на решения своей сестры. Чувства Антонии, поощренные этим согласием, проявились с большей непринужденностью. Она выразила их взглядом, первым взглядом, оживленным любовью.

— Горе мне!— воскликнул Лотарио сдавленным голосом и исчез...

Шум весла, ударявшего по воде канала, нарушил угрюмое молчание, последовавшее за его уходом. Антония бросилась к окну. Лунный луч освещал развевающийся султан Лотарио, одетого в тот день по-венециански. Вид неба, колебание воздуха, время, час, может быть, какое-нибудь другое обстоятельство — напомнили Антонии появление неизвестного разбойника, которого она видела удалявшимся от мола св. Карла. Ее сердце лишь на миг поддалось этому страшному воспоминанию. Какова бы ни была тайная причина смятения Лотарио, он сказал ей, что любит ее, и его любовь должна хранить ее от всех опасностей!

XII

О, прелестная страна! Если бы было где-нибудь на земле место, способное немного облегчить боль скорбящего сердца, заживить глубокие раны, причиненные стрелами печали, и напомнить первые в жизни мечты, то, без сомнения, таким местом была бы ты. Твой очаровательный вид, твои уединенные леса, твой чистый и благоухающий воздух—могут успокоить всякую печаль... но не отчаяние!

Шарлотта Смит

Г-жа Альберти провела ночь и часть следующего дня в попытках найти истолкование таинственным речам Лотарио. Она не придумала ничего, что могло бы побудить ее хотя бы отчасти изменить свои намерения. «Может

быть, низкое происхождение, может быть, расстроенное чрезмерной расточительностью состояние, большие политические или личные невзгоды, удалившие его навсегда из отечества»,— таковы были различные предположения, на которых останавливалось ее воображение, но ни одно из них не представлялось ей серьезным препятствием счастью Антонии. Само сопротивление Лотарио объяснялось в этих случаях такими деликатными и почтенными чувствами, что г-жа Альберти готова была употребить все средства, лишь бы восторжествовать над ними.

После краткого разговора с Антонией она разрешила ей располагать своей рукой и самой сообщить Лотарио об этом, так как была убеждена, что его благородная щепетильность не устоит перед любовью. Более робкая Антония, тревожимая мрачными предчувствиями, томившими ее с детских лет, боялась, что никогда не сбудется счастье, образы которого рисовались ей, и с большим беспокойством и нетерпением ждала, чтобы прошел этот день. Ей казалось, что Лотарио не вернется, что она видела его в последний раз.

Однако он вернулся.

Его опечаленное и усталое лицо говорило о тягостных раздумьях. Цвет лица его потемнел, взор утратил обычную мягкость. Он отражал беспокойную и бурную неопределенность больного воображения. Лотарио сел возле Антонии и стал пристально смотреть на нее. Г-жа Альберти занялась чем-то в некотором отдалении

и намеренно устранилась от их разговора. Создавшееся положение затрудняло робкую и слабую Антонию. Она пыталась улыбнуться, но слезы навернулись ей на глаза. Сердце ее сильно билось. Она несколько раз отходила от Лотарио и потом, возвращаясь к нему, с удивлением замечала, что он попрежнему погружен в неподвижное и зловещее созерцание. Она хотела произнести несколько слов, но с трудом лепетала неясные звуки, а Лотарио не осведомлялся о том, что она хочет сказать. В пристальном взгляде, которым он смотрел на нее, было нечто, напоминающее чары ночного призрака. Наконец ей удалось отчасти расторгнуть эти чары, сказав ему:

— Значит, вы несчастливы, Лотарио?..

Этот вопрос протягивал неуловимую нить к их последней беседе, но являлся скорее выражением испытываемого ею мучительного чувства и переходом к тому, что она собиралась сказать.

Лотарио не ответил.

— Все же,— продолжала она,— с вашей стороны было бы слишком жестоко по отношению к тем, кто вас любит...

— Кто меня любит!— воскликнул Лотарио, схватившись руками за голову.— Опять вы говорите о тех, кто меня любит! Вас научил этим магическим словам мой злой гений; они терзают мне душу.

— Я к этому вернулась намеренно,— отвечала Антония,— потому что знаю, что нет непоправимого несчастья для того, кто любим.

И если суждено было судьбой, Лотарио, что многие обманули вашу любовь, что много раз счастье, которого вы ожидали, ускользало от вас, то это не значит, мой друг, что вам уже не найти драгоценного утешения, вознаграждающего чувствительное сердце за все его страдания. Вы это знаете, Лотарио: вы — любимы...

Лотарио снова смотрел на Антонию, но выражение его лица совершенно изменилось. В нем заметна была только смесь тревожной радости, удивления и ужаса, не свойственных его чертам.

— Лотарио,— продолжала она,— я не знаю ни вашей семьи, ни вашего происхождения, ни вашего состояния, и мне неважно знать все это. Но мне говорили, что рукой Антонии, сердцем которой вы желаете обладать, никто не пренебрег бы по подобным соображениям; а Антония, свободная в своем выборе, остановила бы его только на вас.

— На мне?! — воскликнул Лотарио с каким-то ужасом.

Г-жа Альберти приблизилась.

— На мне?! И это вы, это Антония уязвляет меня такой горькой насмешкой?!

— Лотарио,— продолжала Антония тоном холодного достоинства,— вы презираете Антонию или вы не поняли ее!

— Презирать Антонию? Что значат эти слова? О чем мне говорят? О браке, если не ошибаюсь, и это вы...

Антония прислонилась к своей сестре; она плакала.

— Дочь моя,— сказала г-жа Альберти,—отнесись с уважением к его тайнам. Он не отверг бы тебя, если бы непобедимое препятствие, быть может, другие узы...

Лотарио ее прервал:

— О, не думайте этого! Рожденный любить Антонию, и любить только ее одну, я не ограничил своей свободы никакой другой привязанностью... И если бы ее рука могла служить наградой за любовь или храбрость, то, клянусь в этом, она принадлежала бы мне... Но по какому праву и на каких условиях?.. На каких условиях, великий боже!.. И какой человек осмелился бы их предложить?.. Отмщения неба, как вы ужасны!.. Скажите, не слыхали ли вы, что говорят... не говорили ли вам еще недавно о человеке, которого зовут... Лотарио... таково, кажется, его имя... И супруга Лотарио... в каком дворце, знаете ли вы это, в каком поместье представил бы он ее своим вассалам?

Антония села. Смертельный холод леденил ее члены. Ужасные озарения являлись ее уму, возмущая его. Она старалась проникнуть в эту непроницаемую тайну, но ей удавалось разглядеть только то, что эта тайна глубока и ужасна. Лотарио то приближался к Антонии, то отходил от нее. Временами черты его носили отпечаток бреда; иногда казалось, что они расплываются и искажаются под действием какой-то неодолимой силы. Некоторое время он был задумчив и уныл. Потом его лоб вдруг прояснился, глаза оживились, внезапная мысль, примирившая его с надеждой, озарила его

лицо. Он упал к ногам Антонии и, в исступлении сжимая и орошая слезами руки Антонии и г-жи Альберти, проговорил:

— Ах, если бы во мне мог заключаться для нее и для вас весь мир!

— Весь мир! — ответила Антония.

— Она и вы! — подхватила г-жа Альберти.— Вся моя жизнь была в этой мысли.

— Неужели это было бы возможно? — воскликнул Лотарио, словно подавленный неожиданным счастьем.— Это было бы возможно, и я мог бы начать с вами новую жизнь, вырвать свое имя и свою судьбу из среды людей? Я мог бы сделать это? Но неужели... Могу ли я осмелиться подвергнуть то, что люблю... Этого требует моя роковая звезда... Вдали отсюда, вдали от городов, в стране, где напрасными стали бы ваше громкое имя и большое состояние, и где отныне я посвятил бы всю свою жизнь... Ах, дайте мне отдохнуть мгновение от чувств, угнетающих меня!

Лотарио хранил молчание в течение нескольких минут, затем поднялся и, продолжая свою речь спокойнее, высказался так:

— Еще очень молодым я с озлоблением уже чувствовал зло, заложенное в обществе, всегда возмущавшее мою душу и увлекавшее ее иногда к крайностям, которыми Антония вчера упрекнула меня и которые я слишком жестоко искупил. Скорее по инстинкту, чем по разуму, избегал я городов и живущих в них людей, ибо я их ненавидел, не зная еще, до какой степени придется мне их возненави-

деть впоследствии. Горы Крайны, леса Кроации, дикое и почти необитаемое побережье бедных далматов поочередно привлекали мое беспокойное блуждание. Недолго оставался я в местах, где распространилась власть общества: постоянно отступая перед его успехами, раздражавшими мое независимое сердце, я стремился лишь к тому, чтобы совершенно выйти из-под его власти. Есть одно место в тех странах, до которого не дошла ни цивилизация современных народов, ни цивилизация древняя, оставившая глубокие следы: развращенность и рабство. Это место — Черногория, расположенная как бы на границе двух миров, и какое-то смутное предание подсказало мне, что она не относится ни к одному из них. Это — европейский оазис, отделенный неприступными скалами и своеобразными нравами, которые не развратило соприкосновение с другими народами. Я знал язык черногорцев. Я разговаривал с теми из них, которых случайно приводили в наши города их потребности, никогда не возрастающие и никогда не изменяющиеся по характеру. У меня создалось отрадное представление о жизни этих дикарей, довольствующихся самими собой в течение множества столетий и сумевших на протяжении стольких веков сохранить свою независимость, заботливо охраняя себя от приближения цивилизованных людей. В самом деле, их положение таково, что никакая выгода, никакое честолюбие не могут привлечь в их пустыни шайку жадных разбойников, захватывающих страну

для того, чтобы извлекать из нее выгоду. Только любопытный да ученый пытались иногда добраться до этих уединенных мест и находили там смерть, которую сами должны были занести туда: ведь присутствие цивилизованного человека гибельно для свободного народа, наслаждающегося чистотой своих естественных чувств. Итак, трудно было туда проникнуть; однако я проник благодаря одежде, похожей на черногорскую, и благодаря знакомству с их языком. Отправлялся я, впрочем, искать не людей, а независимую страну, где никогда не раздавался голос человеческой власти, основанной на иных правах, кроме отеческих. Я давно соразмерил свои потребности, потребности юноши с пылкой головой, который надеется всегда довольствоваться самим собой, ибо в некую минуту горького упоения он почувствовал, что все привязанности недостаточны для его сердца и что бог сделал его единственным в своем роде. Для моего честолюбия достаточно было хижины, защищающей от суровой зимней стужи, плодового дерева да родника. Долго бродил я, руководимый лишь следами диких животных, по различным отрогам Клементинских гор, заблаговременно сторонясь дыма человеческих жилищ, так как, подобно черногорцам, я склонен был видеть в каждом человеке врага.

Не буду описывать вам сильные впечатления, полученные мною от величественной и внушительной природы, которая никогда не была покорена и даров которой достаточно

для населения, к счастью довольно редкого, чтобы быть избавленным от необходимости их домогаться. Не буду рассказывать вам, с какой радостью похищал я у земли питательный корень, не опасаясь раздражить жадность скупого крестьянина или обмануть надежду семьи изголодовавшихся земледельцев и услышать роковые слова, напоминающие мне, как и одному из ваших писателей, о захвате земли: «Это — мое поле!» Наконец, как передать необъяснимую смесь чувств, чередовавшихся во мне, когда однажды в самое прекрасное время года я увидел, что солнце заходит на краю огромной долины, со всех сторон затененной рощами смоковниц, гранатовых, олеандровых деревьев и покрытой рассеянными на некотором расстоянии друг от друга небольшими домиками, окруженными прекрасными, ликующими посевами. Правда, эта картина представляла уже жизнь общественную, но на самой ранней ее поре. Никогда нигде обиталище хлебопашца не радовало моих взоров более привлекательным видом. Никогда мое воображение не грезило о таком привольном крестьянском житье. Я постиг тогда всю прелесть людских отношений в земледельческом племени, когда человек любим человеком и когда они полезны, но не необходимы друг другу. Я сожалел, что не живу в ту пору, когда цивилизация не перешла еще этой ступени; что не пришлось мне наслаждаться ею среди народа, вкушающего ее сладость. Вскоре я задрожал, подумав, вспомнив, что законы такого обще-

ства должны быть ужасны и что иностранец, осквернивший его землю, может ожидать только смерти. Кровь моя кипела от негодования против самого себя в то самое время, когда в жилах другого она леденела бы от ужаса.

— О, горе непосвященному,— вскричал я,— который принес бы сюда пороки и ложные европейские знания, если бы у меня были здесь мать, сестра или возлюбленная! Он дорого заплатил бы за оскорбление, нанесенное воздуху, которым я дышу и который он отравил бы своим дыханием.

Меня услыхал черногорец, потому что я выражался на их языке.

— Таковы и наши законы,— сказал он, взяв меня за руку,— и даже тем, кто, как ты, спускается в наши долины с высот Черногории, внешние преграды которой почти непреодолимы для иностранцев, не всегда разрешается жить среди наших пастухов-мередитов. К тому же различие в нравах значительно нас разделяет, ибо вы — охотники и воины и с трудом согласились бы разделить мирные привычки и тихую жизнь наших пастухов; но чтобы не стеснять естественной свободы людей, злоупотребляя властью, которую мы проявляем над нашими детьми, мы позволяем иногда обмен тех, кого склонность призывает защищать наши горы, на тех из вас, чьи более простые вкусы заставляют стремиться к мирным работам на наших полях. И этот свободный обмен людьми и чувствами поддерживает наши сношения с соседями, несмотря на различие на-

ших нравов. Таким образом, в течение многих веков черногорцы-воины окружают наши горы цепью грозных людей и защищают эти поля, питающие их в свою очередь, когда природа отказывает им в удовлетворении их потребностей, что случается редко. Вы, вероятно, сын одного из наших братьев, и все это большое пространство,— продолжал он, указывая на уединенный и привлекательный с виду уголок долины, уже покрытый всходами богатой жатвы,— все это принадлежит вам, кто бы вы ни были. Если вы изберете себе супругу среди наших дочерей, если она принесет вам детей и если вашего надела вам станет мало, мы увеличим его сообразно с вашими потребностями, с тем чтобы вы вернули природе то, без чего сможете обойтись, когда ваша семья разрастется в наших горах; у других народов ведь судят о благополучии семей и селений по обширности пахоты, а у нас измеряют его по количеству земли, остающейся под паром и запашку которой преждевременные потребности — признак чрезмерного населения — не сделали необходимой. Отныне вы — пастух-мередит; вы свободны, и между нами не существует других обязательств, кроме взаимной обязанности оказывать помощь и гостеприимство в тех редких случаях, когда какое-нибудь неожиданное обстоятельство сделает это необходимым. Если вы в настоящее время ни в чем не нуждаетесь, идите и вступите во владение вашим наделом; в противном случае обратитесь к нам, и вы не будете иметь недо-

статка ни в чем из того, чем природа дарит невзыскательного человека.

Сказав это, он хотел покинуть меня, но невыносимая мысль отравляла мое счастье и делала меня неспособным наслаждаться им. Открыться — значило поставить на карту жизнь; но что-то более властное, чем чувство самосохранения, запрещало мне принять от гостеприимных и добрых горцев благодеяние, предназначавшееся не мне.

— Брат мой,— сказал я ему,— вы введены в заблуждение моей внешностью. Я родился за пределами Клементинских гор; я искал здесь свободы. Все мне доказывает, что здесь я нашел бы единственное благо, которое я ищу на земле: возможность свободно наслаждаться воздухом, небом и своим сердцем. Но рай, предлагаемый мне вами, предназначен человеку более счастливому, чем я. В этой роще я только чужестранец, которого вы имеете право покарать.

Морлак глядел на меня.

— Юноша,— сказал он мне после некоторого молчания,— в твоем возрасте не умеют обманывать, но можно ли быть уверенным, что в твоем возрасте не обманываются? Да будет тебе дано разувериться в том мире, который ты покидаешь, и разувериться в нем навсегда. Впрочем, ободрись. Молодым, как ты, и таким же, как ты, чужестранцем пришел я сюда искать убежища, и то же благосклонное отношение встретило меня среди пастухов, а я боялся, что буду отвергнут ими. Ступай,— про-

должал он с некоторой властностью,— вступи во владение землями, которые я тебе показал. Они никому в отдельности не принадлежат, и первый же пришелец может их занять. Нам нет надобности обуздывать население. Сто семей занимают здесь пространство, которого хватило бы для целого народа. Дети твоих детей будут расти здесь, не мешая своим соседям и не страдая от вида их нищеты. Прощай! — сказал он мне.— Трудись, молись и наслаждайся миром своего сердца!

Я остался один, счастливый чувством свободы. Я был хозяином плодородной земли, едва требовавшей немногих трудов, всегда превращавшихся, благодаря своей легкости и успешности, в удовольствие. Мой девственный надел орошался полноводным ручьем, увеличивающимся время от времени благодаря грозам; он спадал водопадом с вершины скал и убегал вдаль, орошая плодовые сады, слишком богатые для моих потребностей и привлекавшие своими плодами бесчисленные стаи перелетных птиц. Я наслаждался удовольствием оберегать этих мимолетных гостей моих садов от неожиданных перемен погоды. Я бывал счастлив, когда мне удавалось спасти от губительного действия холода хотя бы пчелу, неожиданно застигнутую ледяным вечерним ветром, и, согрев своим дыханием, отнести ее в расселину уединенного утеса, где она обыкновенно находила себе кров. Так прожил я два года, не сообщаясь ни с кем. Мне было тогда восемнадцать лет; привычка к сельской жизни раз-

вила мои силы до такой степени, что я сам себе удивлялся.

Я был счастлив, повторяю,— счастлив, потому что я был свободен, потому что был уверен в своей свободе, а я не знаю ничего, более способного наполнить сердце человека радостным чувством, чем это сознание, которым он наслаждается так редко. В какой восторг, в какое восхищение приводило меня созерцание природы! Но часто я томился непостижимой потребностью быть любимым и приходил в отчаяние от убеждения, что никогда избранная мною женщина не придет в эти пустыни разделить мою судьбу. Я понял тогда, что самое нежное чувство может превратиться в страстном сердце в ярость. Я ненавидел свет, обладавший этим неведомым сокровищем, так, как возненавидел бы счастливого соперника. С горечью, с ревнивой злобой грезил я о девушках, ослепленных модными нарядами и лестью каких-нибудь изнеженных поклонников и окидывавших меня презрительным взглядом за мою безвестность или молодость. Я с какой-то яростью чувствовал, что было бы сладостно образумить их когда-нибудь и отучить от тщеславных предрассудков, проливая на их глазах кровь или пугая их заревом пожара... Простите, Антония, бреду безумной юности, предоставленной своим страстям!

Я намеренно отыскивал в горах медведей, чтобы напасть на них с рогатиной, бывшей единственным моим оружием, и сожалел, что эти женщины не были принуждены, дрожа от

ужаса, укрываться под защитой моей руки,— ибо они мерещились мне всюду. Я не ходил к другим пастухам, также почти не сообщавшимся между собой. Но я им был известен некоторой отвагой и большой физической силой, которую мне случайно несколько раз приходилось применять на их глазах. Загадочность моего появления, полное уединение, в котором я жил и из которого ничто не выводило меня, а в особенности слух о моей силе и смелости доставили мне народное уважение, которое дикари, как и цивилизованные люди, питают ко всему необычайному.

Однажды Клементинские горы были окружены иностранными войсками. Несколько отрядов смельчаков поднялось на горы и умерло там. Их поддерживала армия, не пытавшаяся следовать за ними, но угрожавшая некоторое время нашим уединенным местам. Роща в нижней долине, где я жил, почти недосягаема. К тому же, что пришла бы искать здесь алчность соседних народов? Но много наших братьев умерло на границах; мы поднялись им на смену. В битве случай сделал меня пленником наших врагов, вопреки моему решению: я делал все, чтобы умереть, ибо жизнь мне наскучила; но вместе с кровью я потерял сознание, и меня повлекли вдаль. Слишком долго и слишком бесполезно было бы рассказывать об этом.

Что вышло из моей жизни впоследствии, это другая тайна, которую, может быть, придется раскрыть. Но сколько раз воспомина-

ние о неприкосновенном и прелестном убежище, приобретенном мною в новом обществе, вне пределов земных властей и законов, заставляло трепетать мою грудь! Сколько раз я готов был бы все оставить, чтобы вновь обрести это убежище, если бы власть непобедимого чувства не удерживала меня.

— С какого времени? — спросила Антония.

— С того дня, как я увидел вас,— холодно ответил Лотарио.— О если б мое сердце было менее дерзко в своих чувствах и привязалось бы к какой-нибудь женщине, такой же одинокой в мире, как и я сам, и способной понять и прельститься счастьем моих рощ! Это было мечтой моей юности.

— Мне кажется, Лотарио,—сказала г-жа Альберти,— что вы сами создаете химеры, чтобы сражаться с ними. Я не раздумывала... я даже не пыталась углубляться в странную тайну, заставляющую вас отказываться с таких ранних лет от всех преимуществ, на которые ваши счастливые качества дают вам основание рассчитывать в мире; но моя жизнь нераздельно связана с жизнью сестры, а я уже знаю, что она готова подчиниться диким капризам вашей философии до той поры, пока вам не захочется вернуться к образу жизни, более достойному и ее и вас. Она одна имеет право опровергнуть мои слова.

— Едем в Клементинские горы! — сказала Антония, бросаясь в объятия сестры.

— В Клементинские горы! — воскликнул Лотарио.— Антония поехала бы туда? Она по-

следовала бы туда вслед за мной, и утратой такого счастья еще не исчерпываются мои вечные муки!..

Дверь открылась для обычных гостей.

Ледяной холод пал на сердце Антонии. Лотарио тихо приблизился к ней и, прикрывая свое волнение наружной холодностью и вежливостью, шопотом повторил:

— В Клементинские горы! Антония пошла бы туда?..

Антония взглядом искала свою сестру.

— Всюду,— сказала она, указывая на нее,— всюду с ней и с Лотарио!

— Позвольте мне,— сказал он,— помечтать о счастье, которое мне предназначено или которое я потерял. Я слишком взволнован, чтобы отчетливо разглядеть свое будущее... Завтра... или никогда.

Лотарио ушел в крайнем смятении. Сердце Антонии было взволновано не меньше. Ее тревога превратилась в жестокое недоумение. Два часа спустя вошел Маттео и подал Антонии письмо, которое она передала г-же Альберти. Они были одни. Записка была составлена в таких выражениях:

«Никогда, Антония, никогда! Не осуждайте меня; забудьте меня... погоревав обо мне немного. Я отказываюсь от всего, от единственного счастья, которое мое бедное сердце могло бы познать. Я иду на поиски смерти, слишком долго щадившей меня. О, моя Антония! Если мир, в который ты веришь, сможет когда-

нибудь внять голосу раскаяния, если среди детей божиих нет обездоленных заранее, то я вновь увижу тебя... Увидеться с тобою вновь! Увы! никогда, Антония, никогда!

Лотарио».

Г-жа Альберти прочла эти строки дрожащим голосом и не решалась поднять глаза на сестру. Взглянув на Антонию, она испугалась ее бледности и неподвижности. Ужасный удар был нанесен этому слабому сердцу, и г-жа Альберти поняла, что удар этот непоправим.

Отъезд Лотарио в тот же день стал известен в Венеции, и, по обыкновению, он породил множество различных догадок, одна страннее другой. Когда Антония пришла в себя и смогла размышлять об этом, она увидела лишь ужасную тайну; а когда пыталась найти ей разгадку, то чувствовала, что ее сердце замирает, что ее разум мутится. Раз только, на одно мгновение, ей показалось, что она может разгадать эту тайну. С того дня, как Лотарио сказал Антонии свое последнее прости—*завтра или никогда,* старались не допускать ее в комнату, вызывавшую в ней только жестокие мысли и смертельное сожаление. Ухитрившись проникнуть туда без свидетелей и глядя в задумчивости на то место, где они расстались, она заметила у ножки стула, на котором тогда сидела, маленькую записную книжку в переплете из русской кожи и с поломанными стальными застежками. Она под-

няла ее и, предположив, что там может заключаться нужное ей объяснение, что, может быть, Лотарио оставил ее здесь не без намерения, быстро раскрыла книжку и пробежала взглядом по ее страницам. В книжечке было всего лишь около двенадцати разрозненных листочков, исписанных то пером, то карандашом, сообразно с обстоятельствами, при которых мысли являлись воображению Лотарио.

Две или три строки были написаны кровью. Между ними было мало связи; но почти все они были внушены роковым духом парадоксальности, дикой и исступленной мизантропией, господствовавшими в его речах.

Слишком взволнованная чувствами, теснившимися в ее сердце, чтобы вникнуть в смысл этих строк и увидеть в них больше того, что они представляли действительно замечательного,— странные образы, мечтательные мысли, черты какой-то мрачной силы, и ничего, что могло бы рассеять ее сомнения или подтвердить их,— Антония закрыла записную книжечку Лотарио и спрятала ее на груди, не сказав о ней сестре.

XIII

Не будем стараться выяснить, почему невинный стонет, в то время как преступление облечено почетом. День отмщения, день вечного воздаяния сможет один разоблачить тайну судьи и жертвы.

Гервей

Записная книжка Лотарио

Гора Тавр возвышала свое чело над всеми холмами. Один из них сказал ей: «Я — только холм, но во мне заключен вулкан».

Общество, то-есть горсть патрициев, дельцов и авгуров; а с другой стороны — весь род человеческий в пеленках и на помочах.

Законодатели XVIII века похожи на архитекторов Лицера, которые устремляли ввысь стены дворца, не заботясь о фундаменте.

Истощенные народы просят, чтобы ими управляли; развращенные народы испытывают потребность быть покоренными. Свобода — благородная пища, пригодная только для здоровой и мощной юности.

Когда политика превращается в науку слов,— все погибло. Есть нечто более презренное в мире, чем раб тирана: это — простофиля, обманутый софизмом.

Непостижимо, что люди убивают друг друга за свои права и что эти так называемые права человека не что иное, как мистические слова, толкуемые адвокатами. Почему никогда не говорят человеку о первом из человеческих прав, о его праве на часть земли, определяемую соотношением людей и территории?

Что это за закон, носящий на своем заглавном листе эмблемы и название равенства? Аграрный ли это закон? Нет, это договор о продаже нации, предоставленной богачам интриганами и крамольниками, желающими сделаться богачами.

Человек льстит народу. Он обещает служить ему. Он достиг власти. Думают, что он немедленно потребует раздела имущества. Не тут-то

было! Он приобретает имущества и вступает в союз с тиранами для раздела народа.

Священное слово евреев — золото. Существует способ шепнуть его на ухо судьям земным и тем самым заставить вашего врага пасть мертвым на месте.

У Ликурга была странная мысль, что воровство — единственное установление, могущее поддерживать социальное равновесие.

Не устал ли ты, юноша, собирать жатву в садах Тантала? Открой глаза на страдания человечества. Погляди: пропасть Курция еще зияет, и нужно, чтобы еще многие бросились в нее для спасения мира.

Милостыня — добровольное частичное возвращение долга. Нищий заключает полюбовную сделку. Будем вести его тяжбу!

Извлеките человека из лесной глуши и покажите ему общество; он вскоре развратится и будет достоин презрения, как вы, но он никогда не поймет бесстрастного ареопага, который хладнокровно посылает нищего на виселицу за то, что тот опустошил пиршество миллионера.

Трудно решить, что более отвратительно в общественной жизни: преступление или закон; что более жестоко: преступник или судья, преступление или кара. Мнения сильно расходятся.

Убить человека в припадке страсти — это понятно. Заставить же другого убить его на общественной площади, после спокойного и зрелого размышления и под предлогом исполнения почетных обязанностей — вот что непонятно.

Страшно подумать, что равенство — предмет всех наших желаний и цель всех наших революций — действительно существует только в двух состояниях человека: в рабстве и смерти.

Есть от чего умереть от стыда, когда видишь, как народы бьются вокруг какой-нибудь идеи, словно муравьи из-за соломинки. Соломинка — это по крайней мере хоть что-нибудь, а идея — ничто.

Если углубиться до первоисточников, то кража бедным у богатого окажется в конце концов только возмещением, то-есть справедливым перемещением монеты или куска хлеба, возвращающегося из рук вора в руки обворованного.

Высший предел свободы, до которого может дойти нация, стремящаяся к верховной власти,— это право выбрать себе рабство по своему вкусу.

Есть большое препятствие к освобождению городов: это — города.

Покажите мне город, улей или муравейник, и я покажу вам рабство. Только лев и орел — короли, ибо они одиноки.

Злоба — социальная болезнь. Естественный человек не более зловреден, чем всякое другое животное. Цивилизованный человек вызывает ужас или жалость. Пересчитайте этажи какого-нибудь дома и вспомните притчу о Вавилонском столпотворении.

Если бы общественный договор находился в моем распоряжении, я ничего не изменил бы в нем; я его разорвал бы.

Плод древа познания добра и зла — общество. В первый раз, когда человек прикрылся лиственной повязкой, он облекся рабством и смертью.

Есть два совершенно противоположных инстинкта в простом человеке: инстинкт сохранения самого себя и того, что с тобой связано; инстинкт разрушения всего того, что тебе преподано и навязано. Следовательно, общество ложно.

Все творения бога совершенны по своему назначению и по своей цели. Если бы общество входило в замысел творения, то жаворонок никогда не приводил бы своих птенцов на спелую ниву, ожидающую жатвы.

У немногих не дрогнуло бы сердце от возмущения и скорби при виде гордого льва, посаженного в железную клетку и униженно лижущего окровавленную руку мясника, который его кормит. Что должен думать человек, глядя на человека?

Чтобы сделать политическое неравенство менее оскробительным, почти все народы, не обосновавшие его нравственными преимуществами, по крайней мере связали его происхождение с благородными воспоминаниями или священными традициями. Не нашлось еще достаточно циничного законодательства, чтобы признать в своих установлениях денежную аристократию. Когда дойдут до этого — хорошо будет жить, ибо все кончится.

Весьма унизительно для рода людского, что рабы в человеческом обществе никогда не составляют меньшинства. Что же еще нужно, чтобы переменить дурное место на хорошее, когда располагаешь силой и численностью?

Нет ничего легче, как убедить человека, что он зависит от человека в силу какого-то таинственного права, основанного на неведомом законе. Но как заставить его понять ту истину, что его зависимость происходит исключительно от древнего неравного раздела земли, которая не изменилась ни по форме, ни по протяженности и о которой каждый день можно снова поднять тяжбу?

Пчелиный улей не принадлежит трутню, но полевые цветы принадлежат всем насекомым. Единственная неприкосновенная собственность индивида — это то, что он сам производит.

Верно ли, что большинство государей Европы повелели составить роспись поземельной собственности? Пусть!

Установление в настоящее время монархии — затея, достойная жалости. Я не был удивлен, найдя келью отшельника в пепле кратера; но я не советую королю сооружать себе трон в глубине вулкана.

Натянуть в последний раз лук Немврода — не диковина, Наполеон: десяток других делали это до вас. Разбить его — куда лучше.

Наши венецианские фейерверки кончаются огненным снопом, который затмил бы солнце в полдень.

После этого ночь только глубже,— ночь, принадлежащая ворам.

Завтрашний день «великой нации» — ночь с фейерверком.

«Если бы вы преуспели в ваших намерениях,— говорят они,— пришлось бы завтра начать все сызнова».

Велика беда — начать завтра сызнова. Нам так хорошо сегодня!

Когда перестаешь первенствовать в сердце другого, то действительно умираешь. Недостает только внешних признаков смерти.

Общество, убивающее человека, глубоко убеждено, что творит справедливость. Неизмеримой и высочайшей справедливостью возмездия было бы, если бы человек убил общество.

Есть два преступления, к которым я беспощаден: причинение зла тому, кто не может защищаться, и воровство у того, кто нуждается.

Смерть и проклятия негодяю, укравшему собаку у слепого!

Дикарь с Южного моря, отдающий женщину за топор, совершает недурной торг. Есть ли страна, где за топор нельзя было бы получить женщины?

В глубине сердца человеческого есть три заблуждения или три тайны, заставляющие его жить: бог, любовь и свобода. И вот скоро две тысячи лет, как общество перестало бы существовать, если бы несколько галилейских нищих не вздумало создать из этого религию.
Много ли вы знаете дельцов, которые решились бы поставить хотя бы один цехин на вероятную продолжительность этого последнего устоя политической жизни?

Я хотел бы, чтобы мне указали в истории монархию, которая не была бы основана вором.

Когда нации приближаются к своему концу, у них только один боевой клич: «Все принадлежит всем!»
И в день, когда знамя, носящее этот девиз, будет смочено слезами ребенка, я вырву это знамя и сделаю себе из него саван.

Историю древних народов нетрудно рассказать, историю грядущих народов нетрудно предвидеть: отцы, старцы, мудрецы, священники, воины, короли. А затем... народы, быть может?..

Есть только три способа связать свою память с Дельфийским храмом: надо его построить, освятить или поджечь.

Дайте мне силу, которая осмелится принять имя закона, и я покажу вам воровство, которое примет имя собственности.

Свобода — не такое редкое сокровище: она в руках всех сильных и в кошельке всех богатых.

Ты — хозяин моих денег, а я — твоей жизни. Ни то, ни другое не принадлежит ни тебе, ни мне. Верни мне мое, и я оставлю тебя в покое.

Тысячу состояний за одну мысль! Тысячу мыслей за одно чувство! Тысячу чувств за один поступок! Тысячу возвышенных поступков за единый волос! И мир, и будущее, и вечность в придачу!

Основатель новой секты — жалкий человек! Подновитель старой морали — жалкий человек! Законодатель — жалкий человек! Завоеватель — какое ничтожество!

Если существует в мире хорошее общество, это — то, где делят все, давая премию самому сильному. Когда же сюда примешиваются хитрость и предательство, получается законодательство.

Я знаю еще только одно ремесло, доверие к которому остается подорвать, это — ремесло бога.

Меня спрашивали иногда, люблю ли я детей. Конечно, люблю: они еще не люди.

Все голоса земли возвестили однажды, что великий Пан умер. Это было раскрепощение рабов. Когда вы услышите эти голоса еще раз, это будет раскрепощение бедных, и тогда снова начнется захват мира.

Из всех правительств наименее возмущает мое сердце, наименее принижает человечество восточный деспотизм, где унижение народов по крайней мере объяснимо суевериями. Я понимаю тиранна, который происходит от пророков и который сродни звездам. В Тибете он невидим, бессмертен, священен. Это хорошо, и никогда не должно было бы быть иначе. Тиранния и рабство — два состояния, предполагающие наличие двух особей. Самые презренные люди — рабы, признающие тираннов, созданных по их подобию.

Надо воздать благодарение своей счастливой звезде, когда можешь расстаться с людьми, не будучи вынужденным при этом причинить им зло и объявить себя их врагом.

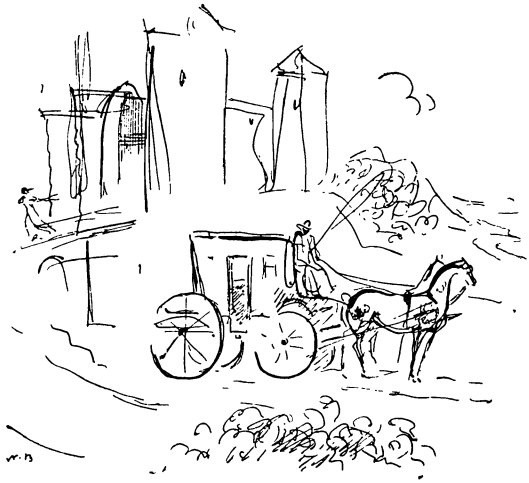
Какое различие существует между преступлением и подвигом, между казнью и апофеозом? — Место, время и презренное мнение глупой толпы, которая не знает истинных имен вещей и применяет к ним наудачу привычные ей названия.

Бичи — в строе природы, законов же человеческих в нем нет.

Недуги, приписываемые богам, плохо вяжутся с идеей о божестве, как я себе его представляю, но в этом есть нечто утешительное для человека. Мне нравится, что Аполлон изгнан; что Церера страдает от голода у матери Стеллиона; что Венера ранена Диомедом; что колыбель Геркулеса окружена змеями, как колыбель гения, и что он умирает, пожираемый туникой, которую Несс завещал своим наследникам.

Если бы сердце мое могло уверовать, если бы мне пришлось выдумать себе бога, я желал бы, чтобы он родился на соломе в хлеву; чтобы он ускользнул от убийц лишь в объятиях бедного ремесленника, который прослыл бы его отцом; чтобы его детство протекло в нищете и изгнании; чтобы он был гоним всю свою жизнь, презираем вельможами, не признан королями, преследуем священниками, отрицаем друзьями, предан одним из своих учеников, покинут самым честным из своих судей; предан казни вместо последнего из злодеев; бичуем розгами, увенчан терниями, поносим палачами и чтобы он погиб между двух разбойников, из которых один последовал бы за ним на небо.

Боже всемогущий, сжалься надо мною!



XIV

Вступают мною в град скорбей к мученьям,
Вступают мною к муке вековой,
Вступают мною к падшим поколеньям.
. . . . . .
Оставь надежду всяк, сюда входящий!

Данте

Со времени отъезда Лотарио грусть Антонии быстро росла. Она впала в уныние, тем более ужасное, что, казалось, сама не знала или забыла его причину. В ее печали не было ничего определенного; это было смутное беспокойство, из которого ее удавалось извлечь

посредством живой забавы, но в которое она вновь погружалась скорее, чем выходила из него. Она часто улыбалась и иной раз даже без повода; тогда тяжело было смотреть на ее веселость, ибо видно было, что выражение ее лица не согласуется с состоянием ее сердца. Никогда она с бо̀льшим старанием не искала уединенных прогулок. Почти все места, которые она посещала, напоминали ей Лотарио, но она никогда не называла его. Она избегала разговоров, в которые могло примешаться воспоминание о нем. Казалось, она старается убедить себя, что он не существовал для нее, что он был в ее жизни только сном или видением бреда. Напротив, она часто стала говорить об отце и матери, о которых давно не упоминала, и говорила она о них, против своего обыкновения не заливаясь слезами, словно была отделена от них лишь небольшим участком дороги и должна вскоре с ними вновь соединиться.

Г-жа Альберти смотрела на это, как на нечто благоприятное в положении Антонии. Она думала, что ее воспоминания взаимно разрушат друг друга и что около родительских могил ей будет легче забыть превратности чувства, всего могущества которого она еще далеко не знала. Поэтому она решила снова отвезти Антонию в Триест, и Антония приняла это предложение со спокойным удовлетворением, единственным, которое ее застывшие черты и неподвижный взгляд могли сколько-нибудь выразить. Впрочем, г-жа Альберти не отказалась

для нее от всякой надежды. Напротив, она была вполне убеждена—и действительно, не было ничего более вероятного,— что загадочный поступок Лотарио был только новым проявлением странности его характера или затруднительности его положения и что он не замедлит вернуться к ногам Антонии, чтобы молить о данных ему ею правах на счастье, которое, казалось, превосходит все его надежды.

Возможно, что причины, делавшие необходимой странную тайну, какой он окружал свои поступки, помешали ему тогда завязать узел, который, окончательно определив его жизнь, во всех отношениях отдал бы его людскому любопытству на слишком близком расстоянии и рассеял бы те смутные догадки, неопределенность которых была ему, несомненно, небесполезна.

При тогдашнем состоянии Европы сколько выдающихся людей принуждены были, подобно Лотарио, скрывать свое имя, скитаясь по различным странам, и, как он, уклоняться от самых глубоких чувств, от самых приятных обязанностей, чтобы обеспечить себе безопасность и особенно чтобы не подвергать опасности тех, кто был им дорог!

Таково, очевидно, и положение Лотарио, и оно должно непременно когда-нибудь измениться. Было бы нелепо искать другого объяснения его поведению. Можно было даже предположить, что, если он побоялся по основательным причинам слишком продлить свое пребывание в большой столице, где его уже

хорошо знали, то он не преминет направиться в Триест, когда узнает, что Антония вернулась туда.

В этих предположениях было много правдоподобия, и Антония не отвергала их; однако она ничего не отвечала и смотрела на свою сестру недоверчивым взглядом, когда поднимался этот вопрос; затем бросалась в ее объятия.

Ввиду того, что дела, призвавшие их в Венецию, не удерживали их больше, они собрались и уехали на судне, направлявшемся в Триест по лагунам. Этот способ путешествия казался им предпочтительнее всякого другого, потому что позволял избежать дорог, наводненных шайкой Жана Сбогара, и особенно того опасного места, где они чуть было не попали к ней в плен.

Каналы лагун представляют мало интереса для путешественника. Они проложены природой между пустынными и бесплодными участками земли,— которые море поочередно то захватывает, то покидает и которые могут доставить убежище лишь кочующим стаям береговых птиц,— и ничто не разнообразит, ничто не оживляет их печальной монотонности. Всюду они представляют взорам лишь бесплодные песчаные берега или заросли тростников, откуда взлетает иногда с долгим криком цапля, удивленная спросонья говором моряков и пассажиров.

Внимание Антонии, поглощенной своей думой, не было еще рассеяно ничем, достойным

ее развлечь, когда спустилась ночь и придала всем предметам более спокойные и мягкие очертания. Небо было усеяно сияющими звездами, но луна отказывала ему в своем свете. Ничего уже больше нельзя было различить за пределами судна, и попеременное раскачивание гребцов можно было разглядеть лишь с трудом. Слышалось только мерное падение весел и журчание воды, рассекаемой носом судна. Вдруг человек, сидевший за рулем, нарушил безмолвие природы, запев не лишенным приятности голосом несколько строф из Тассо, изображающих в гармонических стихах прелесть уединения двух любовников, охваченных взаимной страстью. Эти звуки, ничем не отраженные в беспредельности воздуха и неба и беспрепятственно расстилавшиеся по гладкой поверхности моря, приобщали душу к той бесконечности, где они замирали. Антония внимала им со сладостным чувством, которому сама удивлялась и вкусить которое еще за минуту до того не сочла бы себя способной. Это не была пылкая и бурная мечта первых надежд, это было спокойное наслаждение безмятежным будущим. Ей казалось, что покровительственные силы, зорко наблюдающие за последними минутами невинности и являющиеся открыть ей обитель вечного покоя, должны таким образом проявлять свое присутствие.

Г-жа Альберти испытывала то же чувство. Ее рука соединилась с рукой Антонии; они наклонились друг к другу, и сердца их бились

мерным и спокойным движением. Погрузившись в истому, вызванную чрезвычайной тишиной воздуха и почти неощутимым колыханием вод, они, обнявшись, заснули.

Их покой длился недолго: вдруг выстрел, раздавшийся неподалеку, смутил сон Антонии. Г-жа Альберти попрежнему прислонялась к ней и молчала. Антония подумала сначала, что грезит; но неподвижность судна, молчание весел и несколько странных слов, услышанных ею в невнятной беседе испуганных моряков, вывели ее из заблуждения. Она попыталась разбудить сестру, но безуспешно. Она хотела подняться — и почувствовала, что чья-то холодная и крепкая рука схватила ее руку.

— Вот еще женщина,— сказал голос.— Жан будет недоволен!

При этих словах волосы встали дыбом на ее голове, холодный пот покрыл ее тело, и она потеряла сознание. Она пришла в себя только от шума колес увозившей ее кареты, под которой дрожали, глухо громыхая, гулкие половицы подъемного моста.

Она была одна.

Оправившись от первого изумления, придающего неожиданным несчастьям подобие сна, Антония быстро поняла свое положение. Без сомнения, корабль остановили расставленные на берегу моря разбойники, а эти разбойники могли принадлежать лишь к шайке Жана Сбогара. Выйдя из кареты при помощи двух мужчин, причудливое одеяние и свирепые лица которых наполняли ее ужасом каждый

раз, когда их освещал рассеянный под сводами свет, она пошла по обширным галлереям, огромным лестницам, готическим залам замка, убеждаясь все больше и больше в ужасной мысли, что она — пленница в Дуино.

Когда ужасный конвой привел ее в комнату, предназначавшуюся, повидимому, ей, и оставил ее на мгновение одну, она бросилась к открытому окну и увидела перед собой только море. Далекий огонек, показавшийся ей маяком Аквилеи, сиял одиноко среди ночных светил. Она не сомневалась больше в своей участи и, раздираемая скорбью, упала в кресло.

— В Дуино! — воскликнула она.— Жан Сбогар! Но что сделали они с моей сестрой?

Одни только гулкие своды ответили ее восклицаниям. Последнее слово, произнесенное ею, умерло в их глубинах, словно слабый, угасающий голос. Антония поднялась в ужасе, повторив: «Сестра!», как человек, мучимый тяжелым сном и старающийся проснуться.

Иллюзия, созданная эхом, возобновилась еще мрачнее, напоминая последний стон насильственной смерти. Несчастная Антония, будучи не в силах держаться на ногах, прислонилась к одной из больших пилястр входной двери, под фонарем, проливавшим на нее весь свой свет. Дрожа, обхватила она холодную колонну, прижалась к ней лицом, полуприкрытым распущенными волосами, и почувствовала, что изнемогает под гнетом ужаса. Несколько мужчин, теснившихся в коридоре, казалось, глядели на нее издали. Но слабость

зрения позволяла ей различать в тени, где они скрывались, лишь движение их султанов, и она не была вполне уверена, что не ошибается, как вдруг ужасный крик поразил ее слух.

Один из мужчин убежал, громко назвав ее имя.

Была поздняя ночь, когда Антонию вторично сломили жестокие волнения. Лишь по прошествии многих часов удалось привести ее вполне в себя. Она удивилась, озираясь вокруг, чуткости забот, предметом которых являлась. Ее перенесли в более удобную и лучше убранную комнату. В замке не было женщин, но ей прислуживали дети с приятными лицами.

Только один из разбойников добился в конце дня разрешения быть допущенным к ней, чтобы выполнить распоряжения, данные ему атаманом. Это был очень молодой человек, печальная, нежная и скромная наружность которого во всяком другом месте внушила бы доверие и сочувствие. Он пришел сообщить Антонии, что судно, на котором она ехала, подверглось нападению лишь по прискорбнейшей ошибке; что ничто из ее имущества не будет у нее отнято; что сама она свободна в Дуино, что она и не переставала быть свободной; что все приготовлено к ее отъезду, и от нее одной зависит ускорить или замедлить его, сообразно с тем, чего требует ее здоровье; наконец, что покамест она может неограниченно распоряжаться всеми, кто обитает в замке.

— А моя сестра? — воскликнула Антония.

— Ваша сестра, сударыня,— ответил молодой человек, опуская глаза,— не может быть вам возвращена. Это единственное ограничение, которое мы принуждены поставить нашему повиновению, и это условие навязано нам силой, не зависящей от нас.

— А кто мог вам его навязать?— живо возразила Антония.— Кто может препятствовать моему соединению с сестрой, захваченной, похищенной, увезенной сюда вместе со мной? О! я не хочу никаких преимуществ, никаких возмещений, какие вы мне предлагаете, если я не разделю их с ней!

— Сударыня,— сказал молодой человек, кланяясь,— я не получал других распоряжений.

И он удалился, не дожидаясь возобновления просьб.

Имя г-жи Альберти еще блуждало на губах озадаченной Антонии; оно не было услышано.

Недоумение, в котором она находилась, легче понять, чем описать. Она начинала надеяться, что это происшествие не будет иметь тех ужасных последствий, которых она опасалась, но она не догадывалась о причинах, которые могли заставить держать ее в отдалении от сестры; и эта новая тайна была бездной, где терялся ее разум. Впрочем, все убеждало ее, что ее не обманывали ложными обещаниями. Солнце село уже несколько часов тому назад, а двери ее комнаты оставались открытыми. Люди, приставленные к ней для услуг, сами удалились, предоставив ей полную свободу и

указав комнаты, где они будут находиться в ожидании ее приказаний. В довершение всего ни один солдат не показывался в обширных коридорах, освещенных словно для того, чтобы предоставить ей проход, как только она пожелает уйти.

Приободрившись всем тем, что она заметила, она без колебаний направилась в галлерею, примыкавшую к ее комнате, и, миновав несколько поворотов, дошла до главной лестницы замка. Она беспрепятственно спустилась вниз, быстро прошла с той же легкостью вестибюль и двор и достигла подъемного моста, не встретив никого. Мост опустился при ее приближении, словно какая-то магическая сила поняла желания Антонии и поспешила им повиноваться. Едва только она миновала его, как заметила почтовую карету, готовую к отъезду и охраняемую слугами. Ей показалось даже, что в карете была та самая поклажа, которая была с нею на корабле, а услужливость кучера дала ей основание предположить, что ее ожидали. Но она все-таки осведомилась, куда направляется карета.

— Вероятно, в Триест,— сказал один из слуг,— во всяком случае только туда, куда будет угодно синьоре Антонии де Монтелеоне.

— Это я,— ответила Антония.

— Мы в этом не сомневаемся,— сказал кучер,— другой женщины нет в замке, и мы готовы вам повиноваться.

— Есть другая женщина в этом замке!— воскликнула Антония.— Моя сестра находится

в этом замке! Разве вас не предупредили, что меня будет сопровождать сестра?

— Говорили только о синьоре,— сказал он, печально качая головой,— и невероятно, чтобы сестра ее могла выйти из замка, если на то нет воли хозяина. Но сударыня не знает, может быть, хозяина Дуино. Сделавшись пленницей так недавно...

— Простите,— ответила Антония,— я знаю, где нахожусь. Однако непонятно, что моей сестры здесь нет...

Подъемный мост был все еще спущен. Замок охранялся только часовыми на башнях. Антония бросила взор внутрь и подумала, что ее сестра осталась там узницей.

— Я останусь,— сказала она твердым голосом,— я не поеду без нее, и ее судьба будет также и моей.

Произнеся эти слова, она быстро пробежала часть пространства, отделявшего ее от большой лестницы. Она обернулась, чтобы посмотреть, не идут ли вслед за ней. Подъемный мост вновь поднимался. При виде этого она пала духом. Ей показалось, что все кончилось и что она только что воздвигла между собою и миром преграду, которой ей больше не перейти. Ей хотелось бы вдруг оказаться перенесенной в чащу дикого леса, во власть самых хищных животных, в одну из самых студеных зимних ночей, но быть свободной и независимой. Стены замка тяготели над ней, над воздухом, которым она дышала, и ее удрученное сердце готово было разорваться в гру-

ди. Она приблизилась к перилам, чтобы опереться и перевести дыхание. Ее взоры обратились на люк в полу, откуда исходил слабый свет, дрожавший у ее ног. Через несколько мгновений безотчетного, невольного внимания ей почудилось, что она улавливает странные звуки, поднимавшиеся также из подземелий замка и напоминавшие ей торжественность некоторых духовных песнопений. Она подумала сперва, что это, должно быть, рокот моря, бьющегося у подножья горы, но шум доходил до нее только с перерывами; иногда даже казалось, что он совершенно прекратился, и Антония осторожными шагами, с тревожным любопытством приблизилась к люку. Наконец шум поразил ее слух более явственно, так что ей показалось, что она различает в нем членораздельные звуки и даже имя своей сестры. Предполагая, что предубежденность ее ума могла вызвать этот обман, она опустилась на колени над краем люка и, сдерживая дыхание, чтобы не упустить ни малейшего шума, колебавшего воздух, снова услыхала то же самое.

— Моя сестра — там! — воскликнула она громким голосом, не в состоянии обуздать волнение, поглощавшее все ее мысли, пронизывавшее все ее чувства непостижимой смесью радости и ужаса.

Стремительно поднялась она и бросилась в плохо освещенный спуск, который должен был привести ее в подземелья замка. После бесчисленных поворотов, отмечавшихся местами тусклыми фонарями, скрытыми в углублениях

W.B.

стен, она замедлила шаг, потому что привлекший ее шум стал таким близким, что не пропадало ни единое слово; но она не слышала больше имени г-жи Альберти. Это было, как она и предполагала, всего лишь пение, похожее на церковное; песнопение запевалось одним голосом и повторялось хором. Вскоре она дошла до самого места церемонии; оцепенев от ужаса, она скользила, словно привидение, между высокими колоннами, поддерживавшими удивительно высокий свод, и скрывалась в тенях, отбрасываемых вдаль их огромными основаниями. Все эти колонны, увешанные связками копьев, палашей и огнестрельного оружия, образовывали подобие леса, сквозь который можно было только смутно различать то, что происходило в середине подземелья.

Антония, вдохновляемая своей привязанностью к сестре, все более и более вооружалась решимостью, до тех пор чуждой ее натуре. Каждый раз, когда голоса хора наполняли эхо продолжительным отзвуком, который покрывал звуки ее шагов, она перелетала от одной колонны к другой и, прежде чем кинуть взор в зал, выжидала, пока наступавшее время от времени всеобщее молчание, которое, несомненно, нарушилось бы при ее появлении, не убеждало ее в том, что ее не заметили.

Слабость зрения, однако, позволяла ей различать предметы лишь как бы сквозь туман; и расплывчатость, которою ее воображение наделяло их неопределенные очертания, еще больше увеличивала ужас этой ночной сцены.

На другой стороне, против входа в подземелье, возвышался длинный ряд грановитых аркад, вершины которых терялись во мраке свода; они были отделены друг от друга другими группами колонн, тонких, почернелых и обветшалых от времени. Траурные полотнища пересекали эти аркады на известной высоте, а разбойники, рассеянные на фоне этого погребального убранства, усугубляли ее таинственный ужас; одни из них, неподвижные и сосредоточенные, сидели в глубине ниш, выдолбленных в толще колонн, и были похожи на зловещие изваяния, размещенные здесь мрачным скульптором; другие стояли вокруг железных светильников, поправляя кинжалами пламя факелов и жаровен; третьих, терявшихся во мраке отдаленных переходов, где их зловещие головы и густые бороды то выступали, то скрывались в зыбком сумраке, можно было принять за сонмище призраков. Среди них был один, странное поведение которого тем сильнее возбуждало внимание Антонии, что она быстро поняла, что он несчастен и чувствителен. Его лицо было прикрыто крепом, совершенно скрывавшим его черты. Он стоял на коленях на первых ступенях возвышения, остальная часть которого ускользала от взора Антонии, и, опершись на рукоять своей сабли, горько плакал. Только звуки его рыданий прерывали твердый и сдержанный голос священника, совершавшего богослужение. Антония, вне себя от ужаса и подстрекаемая непреодолимым любопытством, сделала движение вперед, чтобы

увидеть алтарь. Это было погребальное ложе, и на этом ложе лежала женщина; голова ее покоилась на черной бархатной подушке и была едва тронута следами недавней смерти.

— Сестра! — воскликнула Антония и упала.

Это была действительно она, ибо ружейный выстрел, раздавшийся на судне, убил ее, а теперь шайка Жана Сбогара воздавала ей последние почести.

XV

Почему, глядя на меня, щетинишь ты так свои окровавленные волосы? Почему обращаешь на меня свои глаза, из орбит которых исчезли иссохшие зрачки? Не я убил тебя.

Шекспир

Всюду ли буду я встречать вас, тени убитых, с большими почерневшими ранами, и вас, безутешные матери, указывающие мне на пламя, зажженное моими руками, на пламя, ужасные языки которого пожирают колыбель ваших первенцев?

Шиллер

Антония долгое время была погружена в состояние, похожее на сон. Она, казалось, не испытывала никакого волнения, и это спокой-

ствие было так глубоко, оно должно было, по всей вероятности, смениться такой смертельной тревогой, что опасались ее пробуждения. Однако она пришла в себя, не обнаруживая страданий. Самое большее — она казалась занятой какой-то неприятной мыслью, каким-то навязчивым воспоминанием, которое пыталась отогнать. С нерешительностью оглядывалась она вокруг и проводила рукой по лбу, стараясь отдать себе отчет в томившей ее тревоге.

— Я хорошо знаю,— сказала она наконец,— я знаю, где она. Я отыщу ее сегодня вечером.

Фитцер, самый молодой из разбойников, приблизился к ней, чтобы осведомиться о ее состоянии. Она улыбнулась ему, как знакомому, потому что именно он говорил с нею накануне от имени Жана Сбогара.

— Я давно ждала вас,— сказала она,— мне хотелось бы знать, какой казнью наказываете вы нескромных, которые проникают непрошенными на ваши празднества. Я знаю девушку... Но заклинаю вас спасением того, кого вы любите больше всего в мире, свято хранить эту тайну... Обещайте мне не говорить об этом никогда и ни с кем.

Молодой человек смотрел на нее глазами, влажными от слез, ибо заметил, что ее разум помутился.

— Вот как,— сказала она с величайшим удивлением,— это слезы? Я думала, что больше не плачут. Не скрывай от меня своих слез. А я, я не могу больше плакать. Я припоминаю,

что видела другого мужчину,— это было в одном месте, где меня не ждали,— мужчину, который также плакал. Я думаю, что это мог быть ты, ибо его лицо было прикрыто вуалью, которая помешала мне его разглядеть.

— Его лицо мне неизвестно, как и вам,— ответил Фитцер.— Немногие из нас видали его иначе, как сквозь вуаль или забрало шлема. Только наши старые воины видели его без покрова в битвах. Но он очень редко заезжает в Дуино и появляется здесь только в маске с тех пор, как мы беспрепятственно разъезжаем по венецианским владениям. Это наш атаман.

— Где он?— холодно спросила Антония.— Разве он не знает, что я здесь?

— Он знает об этом, но не осмеливается предстать пред вами из боязни, что его присутствие взволнует вас и что вы вмените ему в вину ошибку, благодаря которой вы сделались пленницей.

— Пленницей, говоришь ты? Антония свободней ветра! Еще прошлой ночью гуляла я очень далеко отсюда, в прелестных рощах, и дышала таким чистым воздухом! Никогда не видела я так много цветов. Сестра была со мной; ей захотелось там остаться. Я чаще бывала там, когда была моложе. Но я никогда не ходила туда с моей матерью. Моя жизнь очень изменилась с тех пор!

Антония положила голову на руку, и ее веки опустились. Лицо ее покрылось густым румянцем, губы казались иссохшими от знойной лихорадки. Она смеялась и рыдала.

Судьба Антонии свершилась. У нее не оставалось на земле другого покровительства, кроме покровительства грозного влюбленного, который так таинственно явился ей в Фарнедо и который был самим Жаном Сбогаром. Любовь Жана Сбогара бодрствовала над ней с заботливостью и целомудрием, которое, несомненно, удивило бы ее, если бы помутнение рассудка не мешало ей размышлять над своим положением. Из лачуг Сестианы были вызваны молодые женщины, чтобы ей служить и присматривать за ней. Знаменитые врачи были приглашены или похищены из соседних городов, чтобы лечить ее, как того требовала ее болезнь. Священник — давний пленник разбойников, тот самый, что недавно служил панихиду по г-же Альберти в подземелье, обращенном для этой церемонии в часовню,— подстерегал возле одра болезни минуты просветления, оставляемые ей недугом, чтобы приносить ей утешения неба. Сами эти свирепые люди, в душе которых зарождались до сих пор лишь мысли о крови,— очищенные видом такой невинности и тронутые столь великим несчастием, расточали ей самые нежные и трогательные знаки покорности. Антония привыкла видеть их и беседовать с ними о причудливых призраках, сменявшихся в ее больном воображении. Один только Жан Сбогар, даже под вуалью или забралом шлема, скрывавшим его черты, не осмеливался появляться возле нее иначе, как только во время ее сна или тогда, когда бред лишал ее способ-

ности сознавать окружающее, так что он мог наслаждаться мучительным созерцанием любимого существа, не боясь внушить ему страх и отвращение.

Но однажды, бросившись к ее ногам и не в силах сдерживать угнетавшие его чувства, он воскликнул голосом, подавляемым рыданиями:

— Антония! Антония! Дорогая Антония!

Она повернулась в его сторону и посмотрела на него с нежностью. Он поспешил удалиться. Она подозвала его знаком. Он остановился, склонив голову на грудь, выражая повиновение и внимание.

— Антония!— сказала она после минутного молчания.— Кажется, таково действительно мое имя; я его носила в доме, где родилась, и мне сулили тогда, что я буду счастлива... Слушай,— продолжала она, беря руку разбойника,— я хочу сделать тебе признание. В пору своей ранней юности, когда я думала, что жить так легко и так приятно; когда кровь не опаляла мне жил; когда слезы не опаляли моих щек; когда мне не являлись бегающие в лесной чаще привидения, которые взрывают землю ногами, вырывают в ней пропасти, более глубокие, чем море, и выбивают из нее огненные источники; когда души убийц, не находящих пристанища в могиле, еще не прыгали и не метались вокруг меня с жестоким смехом и когда при пробуждении мне не приходилось отцеплять ядовитой змеи, впутавшейся мне в волосы, змеи, голова которой,

дымящаяся голубоватым ядом, покоилась у меня на шее... в ту пору был ангел, странствовавший по земле; черты его лица могли бы тронуть сердце отцеубийцы. Но я успела только взглянуть на него, потому что бог, позавидовав моему счастью, отозвал его. Я называла его Лотарио, моим Лотарио... Я помню, что у нас был дворец — очень далеко, в горах. Никогда не могла я найти к нему дорогу...

Хотя разбойник не снимал своей вуали, Антония заметила, что его слезы усилились при ее последних словах. Она улыбнулась ему с нежным состраданием, снова взяла его руку, которую выпустила перед тем и которая не осмелилась задержать ее руки, и сказала:

— Я знаю, что огорчаю тебя, и прошу у тебя прощения за это. Знаю, что ты меня любишь и что я — твоя невеста, невеста Жана Сбогара. Ты видишь, я тебя узнала и сегодня рассуждаю разумно. Наш брак давно уже решен, но мне не хотелось иметь от тебя тайн. Впрочем, может быть, Лотарио вовсе и не существует. За последние дни я видела столько лиц, существующих лишь в моем воображении и ускользающих от меня, когда я прихожу в себя... Я уверена, например, что ты не знаешь, что у меня есть сестра... Нет,— продолжала она после краткого раздумья,— если бы у меня была сестра, она заменяла бы мне мать, и мы не могли бы обойтись без нее, празднуя нашу свадьбу. Скажи мне, готовишь ли ты к этому дню блестящее пиршество? Это надо сде-

лать: невеста ведь — богатая наследница. У меня есть золотые застежки и бриллиантовые кольца для подвенечного наряда. Но в волосы мне хочется только простой венок из шиповника.

Она снова умолкла. Ее помешательство усилилось. Жутко было видеть остановившуюся на ее устах улыбку.

— Прекрасное будет торжество,— продолжала она.— Весь ад будет присутствовать. Свадебный светильник Жана Сбогара должен затмить полуденное солнце. Видишь ли ты отсюда званых гостей? Ты всех их знаешь. Я никого не приглашала. Вот среди них те, у кого от пожара полуобуглились руки и ноги; старики, дети, светильники которых ярко разгораются от зажженных тобою пожаров, чтобы принять участие в твоих увеселениях... Вот среди них другие, поднимающиеся в своих саванах и скользящие к свадебному столу, скрывая кровоточащие раны... О, боже мой! Какие чудовища убили эту молодую женщину? Бедная Люсиль! И каким именем они меня величают... Хорошо ли ты их слышишь? «*Приветствуем, приветствуем*»... Я никогда не осмелюсь этого повторить! «*Приветствуем*»,— говорят они и шепчут все вместе клич проклятых, крик радости, который издал бы сатана, если бы победил своего творца, тайное слово, произносимое гнусной матерью, собирающейся задушить своего ребенка, чтобы не слышать его стенаний... «*Приветствуем невесту Жана Сбогара*»...

Произнеся эти слова, Антония потеряла сознание. Припадок был продолжителен и страшен; долго опасались даже за ее жизнь. В течение недели разбойничий атаман не отходил от ее постели и, внимательно следя за каждым ее движением, занимался только тем, что прислуживал ей. Он не смыкал глаз и плакал.

Когда состояние Антонии улучшилось, он продолжал ухаживать за ней, думая, что она свыклась с его присутствием и видит его без ужаса.

Это усердие поразило ее.

Она слишком смутно помнила прошлое, чтобы имя этого человека и связанные с ним воспоминания могли беспрерывно поддерживать в ней чувство страха. Время от времени только ее душа возмущалась при мысли, что она зависит от него, и от одного его приближения ее леденил ужас. Обычно же отсутствие рассудка отдавало ее, как ребенка, во власть инстинктивных потребностей, и тогда она видела в атамане дуинских разбойников лишь чувствительное и сострадательное создание, старавшееся смягчить горечь ее страданий и заботливо предупреждавшее малейшие ее нужды. Тогда она обращалась к нему с нежными и ласковыми словами, которые, казалось, еще больше увеличивали снедавшую его затаенную скорбь. Однажды он сидел возле нее, закрывшись по обыкновению вуалью, и внимательно охранял ее сон от всех случайностей, которые могли бы его потревожить.

Но она все же внезапно проснулась с порывистым движением, произнося имя Лотарио.

— Я его видела,— сказала она, глубоко вздыхая,— он сидел на твоем месте. Я во сне часто вижу его здесь и тогда чувствую себя очень счастливой. Но почему мне кажется иногда, что я вижу его здесь и наяву, когда я, повидимому, не грежу. Он появляется обычно вот там, под этим пологом... В эти дни страдания... и надежды, когда я чувствовала себя призываемой к вечной свободе, огонь пробегал по моему телу, мои губы пылали, ногти делались мертвенно-синими. Все здесь было полно призраков... Виднелись тут змеи яркозеленого цвета, вроде тех, что прячутся в дуплах ив, и другие, еще более отвратительные пресмыкающиеся, с человечьими лицами; бесформенные великаны непомерного роста; только что срубленные головы, глаза которых, полные жизни, пронзали меня ужасным взглядом; и ты, ты также стоял среди них, словно волшебник, повелевающий всеми этими чарами смерти... Я кричала от ужаса и призывала Лотарио, чтобы он защитил меня... Вдруг... не смейся над моими бреднями... я увидела, что вуаль его спàла, и на месте, где ты стоял, я заметила Лотарио в слезах, простиравшего ко мне дрожащие руки и называвшего меня по имени стонущим голосом... Правда, он был не таким, каким я его знала — печальным, озабоченным и суровым, но прекрасным небесной добротой... Он исхудал, посинел, имел растерянный вид и вращал кровавыми глазами. Борода у него

была густая и противная; отчаянный, как у демонов, смех блуждал на его бледных губах. О, ты никогда не смог бы себе представить, что сталось с Лотарио...

Разбойник, казалось, не слышал Антонии. Он был погружен в глубокое молчание. Он поднялся и стал стремительно ходить по комнате, потом снова вернулся к Антонии и долго смотрел на нее. Его зубы сильно стучали. Ужасная мысль, казалось, овладела всем его существом до такой степени, что он не замечал все возрастающего ужаса, внушаемого им несчастной пленнице.

Наконец она приподнялась на постели, стала на колени и закричала ему, молитвенно скрестив руки:

— Пощади, пощади, прости меня! Не бойся Лотарио: он не желает Антонии. Я соглашалась принадлежать ему, но он от меня отказался. Помилуй еще на этот раз, и я тебе никогда больше не буду говорить о нем!

Затем она снова упала, ибо ее силы иссякли. Жан Сбогар бросился к ее ногам, схватил край покрывавшего ее и ниспадавшего до земли одеяла, исступленно прижался к нему губами и убежал...

XVI

Сила воина, что же ты такое? Сегодня ты развертываешь перед собою битву в облаках пыли. Твои следы устланы мертвыми телами, подобно тому как сухие листья ночью отмечают путь привидения. Завтра кратковременная гроза о подвигах кончится; то, что приводило в ужас тысячи людей, исчезнет. Мошка, летающая на крыльях дымчатого цвета, запоет в кустах свой торжествующий гимн и надругается над твоей славой, которая станет лишь пустым звуком.

Оссиан

Прошло два месяца с тех пор, как Антония жила среди дуинских разбойников, но ее состояние не изменилось и не подавало ника-

кой надежды. Она только окрепла немного и полюбила дышать вечерним воздухом у окна, выходившего на море.

Однажды никто из прислуживавших ей, не появлялся возле нее. Это случалось впервые. Но она едва заметила их отсутствие. Гул пушки, грохотавшей в окрестностях Дуино, занимал ее больше, потому что возбуждение, вызываемое им, беспрестанно повторялось. Желая повидать своих сожительниц, она спустилась по главной лестнице, пробежала залы и вестибюль и нашла замок безлюдным. Пушка приближалась, и каждый выстрел сопровождался глухим шумом, подобным шуму бури. Антония вновь поднялась, открыла окно и посмотрела на море. Она разглядела там множество небольших судов или челноков, похожих на рыбачьи, которые, казалось, окружали подножие крепости.

Все эти впечатления были довольно остры вначале, но быстро изгладились. Спустилась ночь, воздух был ясен, волны тихи, небо усеяно мириадами сияющих звезд, как в ту ночь, когда корабль Антонии был захвачен у берегов Истрии, при выходе из лагун. Некоторое время ей доставляло удовольствие любоваться этой картиной.

Между тем шум, который она услыхала, угрожающе усиливался позади нее. Ей казалось, что она различает лязг клинков, проклятия, стоны, сменявшиеся время от времени мертвой тишиной. Если бы она и владела рассудком,— она была слишком несчастна, чтобы

опасаться чего-либо, так как положение ее, казалось, не могло измениться к худшему; но она видела в надвигавшейся катастрофе лишь возможность новых страданий, и стоны, доносившиеся до ее слуха, говорили ей о страшных муках, которым она вскоре подвергнется.

Галлереи замка не были освещены, и мрак сделался глубоким. Но она все-таки проникла туда и скользила вдоль темных стен, касаясь их рукой. Очутившись наверху лестницы, она прислушалась. Дворы были полны вооруженных людей, которые невнятно разговаривали.

Сражение кончилось.

Только приклады ружей звучали, ударяясь о плиты мостовой.

Вдруг она услышала страшный шум, среди которого раздавалось имя Сбогара. Преследуемый человек бросился по лестнице и как молния пронесся мимо нее. Несколько факелов засветилось на первых ступеньках. Скрещивались штыки. Каменные ступени гудели под поступью солдат. Антония побежала к своей комнате, и, когда вошла в нее, ей показалось, что ее назвал по имени чей-то глухой голос.

— Кто зовет меня?— сказала она, дрожа.

— Это я,— ответил Жан Сбогар,— не пугайся. Прощай навеки!

Он приблизился к окну, а разыскивавшая его толпа уже появилась в противоположном конце галлереи.

Разбойник вернулся к Антонии и схватил ее.

W.B.

— Это я, это я,— сказал он,— прощай навеки!

Антония испытывала смутное чувство отвращения и нежности, которого сама не понимала.

Сбогар дрожал.

Он прижал ее руку к своему сердцу.

— Антония, дорогая Антония!— восклицал он.— Прощай навеки! О, в последний раз,— осталось в веках только это единственное мгновение. Антония, дорогая Антония!

Его вуаль упала, но Антония не видела его лица. Она его касалась, она чувствовала пламя его дыхания. В тот же миг губы разбойника прильнули к ее губам и запечатлели на них поцелуй, от которого по всему существу Антонии разлилось неведомое ей опьянение, жгучее сладострастие, напоминавшее и рай и ад.

— Кощунство или осквернение святыни,— проговорил Сбогар.— Ты — моя возлюбленная и супруга, и пусть весь мир погибнет теперь!

Произнеся эти слова, он положил ее на ступеньку, поднимавшуюся к окну, и бросился в море...

Вбежали солдаты с факелами. Они удивились, что не видят разбойника, и спросили Антонию, не заметила ли она его.

— Тише,— сказала она им, прикладывая палец ко рту,— он первый взошел на брачное ложе. И вот,— продолжала она, указывая на креп, оставленный им у ее ног,— вот его свадебный подарок.

XVII

И повелел мне ангел взглянуть на него, и я взглянул, и вот конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним.

Апокалипсис

Французские войска только что вошли в Венецианские Провинции. Первой заботой генералов было очистить страну от разбойников, которые опустошали ее и могли сделаться опаснейшими пособниками вражеской армии. Поэтому было решено взять приступом замок

Дуино. Почти все разбойники погибли с оружием в руках. Живыми удалось захватить только немногих из них: выведенных из строя тяжелыми ранами или бросившихся в море, где их подобрали замеченные Антонией челноки. Предполагали, что Жан Сбогар находится среди них; но, так как сами разбойники не знали его в лицо, ничто не могло рассеять на этот счет сомнений у победителей. Фитцер, Жижка и большинство главных доверенных атамана умерли возле него, прежде чем он вошел в замок.

Пленные были отосланы в Мантую, где их должны были судить. Предпочли этот довольно отдаленный город всякому другому, потому что он ставил их вне досягаемости и покушений сообщников и потому что его удачное военное положение предохраняло его от внезапного налета. Антония была отвезена туда в отдельной карете. Ввиду ее явного умопомешательства ее поместили в убежище и вверили попечениям врача, известного достижениями, которых он добился в распознавании и лечении этой печальной болезни.

Его усилия, к несчастью, увенчались успехом. Антония выздоровела и поняла всю глубину своего горя.

В течение времени, проведенного ею в этом доме, она не переставала быть предметом той благоговейной заботливости, тайну которой только религия может преподать милосердию. По мере того, как ум ее, освобождаясь от окружавшего его мрака, снова приобретал оча-

рование, пленявшее сердца, она стала возбуждать в окружающих, и в особенности в познакомившихся с нею ближе сестрах убежища, чувство более нежное, чем сострадание.

Она была любима.

Никакая привязанность не влекла ее обратно в мир, и эта тихая обитель стала отныне для нее всем, а потому ей легко было свыкнуться с мыслью окончить здесь свою жизнь. Немного позже она была бы вынуждена решиться на это.

Несколько сделанных ею попыток ввестись во владение своим большим состоянием остались тщетными. Алчные родственники, прибывшие вслед за армией, констатировали смерть г-жи Альберти, предположили, что и она умерла, и завладели ее наследством. Они были могущественны; этот грабеж сделал их богатыми. Возражения Антонии не могли быть услышаны. Она стала в глазах людей лишь неведомой сиротой без имени. Это было меньшее из ее несчастий, и ее сердце чувствовало его лишь при мысли о добре, которое она могла бы делать в своей новой жизни, если бы принесла сюда свое богатство. Но ее драгоценностей хватило на вступительный вклад и на раздачу милостыни, которая должна была возвестить бедным, что в обители св. Марии у них стало одной благотворительницей больше.

День ее посвящения, долго откладываемый из-за ее крайней слабости, наконец наступил, когда за ней явились двое полицейских от имени правосудия.

Судебное следствие по делу разбойников было закончено. Все сорок человек были осуждены на смертную казнь; но ничто не доказывало, что Жан Сбогар находится среди них, и ужас этого грозного имени еще носился над Венецианскими Провинциями, где оно способно было объединить новые шайки, столь же опасные, как и первая.

В этой неуверенности вспомнили о безумной девушке, обнаруженной в замке Дуино, которую все свидетельские показания единодушно выставляли как единственного человека, смягчавшего неумолимую жестокость Жана Сбогара. Предполагали, что она несомненно признает его среди его сообщников, если он находится среди них, и что первое же ее движение определенно укажет его; поэтому сочли целесообразным поместить ее на большом тюремном дворе в то время, когда осужденные будут проходить там в последний раз.

Антония была в одежде послушницы; ее волосы были уже подобраны под повязку девственниц, белизну которой затмевала бледность ее лица. Две монахини сопровождали ее. Почти не в силах держаться на ногах, она опиралась на руку одной из послушниц; рука ее лежала на плече другой монахини, а голова поникла на грудь.

Вскоре послышался странный шум. Это был возглас страшного нетерпения, которое почувствовало себя наконец удовлетворенным. Она подняла глаза, думая разглядеть нечто необычайное, но зрение плохо служило ей. Судей-

ский чиновник, заметив это, приказал подвести ее ближе на несколько шагов. Она стала видеть отчетливее, но не понимала того, что видит. Это были люди, отвратительная одежда которых наводила на нее ужас; они двигались гуськом сквозь строй солдат. Они шли размеренным шагом и часто останавливались. При виде каждого из них она чувствовала, как возрастает ее страшная тревога; наконец ее поразил ужасающий призрак, и она подумала, что вновь делается добычей бреда, от которого только что была спасена.

Это был он.

Это была картина, внушившая ей такой глубокий ужас в Венеции, когда голова Лотарио появилась в зеркале над ее красной шалью.

Невольно подалась она вперед, чтобы убедиться в действительности того, что видели ее глаза. Выражение его лица было то же. Он был одет в платье или плащ того же цвета.

Это был он.

— Лотарио! — воскликнула она раздирающим голосом, бросаясь к нему.

Лотарио повернулся и узнал ее.

— Лотарио! — сказала она, прокладывая себе дорогу сквозь сабли и штыки; ибо она понимала, что он идет на смерть.

— Нет, нет,— ответил он,— я — Жан Сбогар.

— Лотарио! Лотарио!..

— Жан Сбогар,— повторил он настойчиво.

— Жан Сбогар!— воскликнула Антония.— О, боже мой!..— И сердце ее разбилось.

W. B.

Она неподвижно лежала на земле: она перестала дышать.

Один из полицейских приподнял ее голову концом палаша, потом предоставил ее силе собственной тяжести, и она ударилась о камни мостовой.

— Эта девушка мертва,— сказал он.

— Мертва,— повторил Жан Сбогар, пристально глядя на нее.— Идемте!

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 39. В 1812 году Нодье уехал в Иллирию, где получил место библиотекаря в библиотеке г. Лайбаха. Одновременно он состоял редактором местной газеты «Иллирийский телеграф», выходившей на четырех языках (французском, итальянском, немецком и сербо-хорватском). После Реставрации (1814 г.) он вернулся в Париж и занялся журналистикой.

«*Индекс*» (латинский Index librorum prohibitorum») — список книг, запрещенных католической цензурой.

К стр. 40. «*Гракх из Спалато*» — Тиберий *Гракх* (II век до н. э.) — римский трибун, защитник земельных интересов крестьянства и проповедник аграрных реформ; был убит патрициями. Брат его Кай, трибун с 123 г. до н. э., продолжал его дело, но вскоре был также убит. *Спалато* — город в Далмации, на берегу Адриатического моря. Гракхом из Спалато Нодье называет Жана Сбогара.

«*...божество, которому поклонялись на улице Тэтбу*».— Нодье намекает, вероятно, на «поклонение золотому тельцу», так как в те времена на улице Тэтбу помещался известный банк Уврара.

«*Моя двухтомная книжица*».— Первое издание «Жана Сбогара» вышло в двух томиках.

Констан де Ребекк, Бенжамен (1767—1830) — французский писатель и политический деятель умеренно-

либерального направления. Был в оппозиции к Наполеону, а затем и к Бурбонам. Автор психологического и автобиографического романа «Адольф», повествующего о любви Констана к г-же де Сталь. «Адольф» неоднократно переводился на русский язык (последний перевод в серии «История молодого человека XIX века», 1932 г.).

К стр. 41. *Крюденер,* Варвара-Юлия, баронесса (1764—1825) — писательница и проповедница мистического учения. Одно время была близка к Александру I. Ее роман в письмах «Валерия» вышел в 1803 г. и имел громадный успех.

«*Адольф*» и «*Валерия*» — см. два предыдущих примечания.

«*...самого блистательного из моих успехов*».—Успех «Жана Сбогара» был действительно велик и распространился далеко за пределы Франции. Перевод «Сбогара» на русский язык был в то время невозможен по цензурным соображениям, французские же экземпляры были в России редкостью; например, А. И. Тургенев писал кн. П. А. Вяземскому в 1818 г., что заплатил за чтение «Сбогара» десять рублей, но своего экземпляра не имеет, а Вяземский за несколько дней до этого сообщал в письме, что хотя он и «не охотник до романов,— проглотил «Жана Сбогара» разом».

Пушкин упоминает Жана Сбогара в «Евгении Онегине» (глава 3-я, строфа XII):

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачной,
Иль Вечный Жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар.

В авторских примечаниях к «Онегину» Пушкин поясняет: «Jean Sbogar» — известный роман Карла Нодье». В «Барышне-крестьянке» Сбогаром названа собака Алексея Берестова. В библиотеке Пушкина был экземпляр «Сбогара» издания 1832 года.

Монтэнь, Мишель (1533 — 1592) — французский философ-скептик, автор «Опытов».

Де Гурнэ, Мария (1566 — 1645) — французская писательница и эрудит, друг Монтэня, которую он шутя называл «приемной дочерью». В 1595 г. она издала третье, посмертное, издание «Опытов» своего друга, снабдив их примечаниями и предисловием.

К стр. 42. *Макферсон,* Джемс (1738—1796) — шотландский поэт. Выпустил в 1760 г. сборник эпических поэм, выдав их за произведения шотландского барда III века Оссиана. Талантливая подделка Макферсона была обнаружена лишь после его смерти. Оссианом увлекалась вся Европа, в том числе и наши поэты — Державин, Пушкин и др. Нодье как будто относился неодобрительно к Макферсону, что, однако, не помешало ему взять из его произведений две цитаты в качестве эпиграфов к III и XVI главам «Сбогара».

Люс де Лансиваль, Жан-Шарль-Жюльен (1764—1810) — французский поэт и драматург.

Гурго, барон Гаспар (1783—1852) — французский генерал, бывший одно время в числе приближенных Наполеона на острове св. Елены.

Фарсал — город в Фессалии (Греция), где в 48 г. до н. э. Юлий Цезарь разбил Помпея.

«...в том числе мог бы оказаться и я». — Нодье намекает на свой арест в 1803 г. История этого ареста такова. В 1802 г. Нодье написал «оду» «La Napoléone», резко враждебную Наполеону. Ода была вскоре напечатана в лондонской французской газете «L'Ambigu» и вызвала возмущение в правительственных кругах; были приняты меры к разысканию автора, но Нодье сам в письме в полицию объявил о своем авторстве. Он был арестован, но тут же раскаялся и по приказу Наполеона был освобожден. Впоследствии он был склонен сильно преувеличивать это событие (см.

J. Claretie. «Ruines et fantômes». Paris, 1874). Существует мнение, что Нодье и вовсе не подвергался аресту.

К стр. 44. «*Корсар*» — поэма Байрона, изданная в 1814 году.

Де Сталь, Анна-Луиза-Жермена, баронесса (1766—1817) — французская писательница, родоначальница —наравне с Шатобрианом — романтической школы во Франции. Когда обнаружилось стремление Наполеона к диктатуре, г-жа де Сталь попыталась создать из своего салона центр либеральной оппозиции, но вскоре ей пришлось покинуть Францию. С 1803 по 1813 г. она жила в Германии, Швейцарии, России, Швеции, Англии. Ее сочинения — «О литературе и ее отношении к общественным учреждениям» (1800), романы «Дельфина» (1802) и «Коринна» (1807) — оказали громадное влияние на последующую французскую литературу, а книга ее «О Германии» (1810) познакомила французов с германской культурой того времени.

«*Библиография была мне кое-чем обязана*».— Нодье был выдающимся библиографом и библиофилом. Им написан критический разбор всех словарей французского языка и составлен ряд описаний библиотек (в том числе и собственного замечательного собрания библиографических редкостей).

К стр. 45. *Ренуар,* Антуан-Огюстен (1765 — 1853) — французский издатель и библиограф. В 1819 г. издал четырехтомный комментированный каталог своей богатейшей библиотеки под названием «Catalogue de la bibliothèque d'un amateur».

Альды — семейство знаменитых венецианских типографов, прославившихся превосходными изданиями римских и греческих классиков (XVI век). Ренуар заимствовал для своих изданий издательскую марку Альдов— якорь с обвивающим его дельфином.

Шокке, Иоганн Генрих-Даниил (1771—1848) — немецкий писатель. Его пьеса «Абелино-разбойник» (1793) — подражание шиллеровым «Разбойникам» — имела в свое время громадный успех. На французский язык она была переведена Ламартельером и издана вместе с его переводом «Театра Шиллера» в 1799 г.

Тема о благородном разбойнике восходит к испанскому рыцарскому роману об «Амадисе Гальском» (XIV век); в XVIII веке она возродилась и стала особенно популярной благодаря «Гёцу фон Берлихингену» Гёте (1773). В 1781 г. появились «Разбойники» Шиллера. Драма Шокке — одно из многочисленных подражаний этим двум драмам. Жан Лара в своем обширном исследовании о Нодье — «La tradition et l'exotisme dans l'oeuvre de Ch. Nodier» (Paris, 1923) — устанавливает, что, если Нодье ничего не позаимствовал у Байрона, то заимствования его у Шокке очевидны, так как многие детали обоих произведений вполне совпадают. Точно так же отдельные эпизоды «Сбогара» совпадают с драмой Льюиса «Венецианский разбойник», переведенной на французский язык в 1805 г.

В. М. Йованович утверждает, что имя «Жан Сбогар» выдумка Нодье («La Guzla de P. Mérimée», P., 1911).

Таким образом, предисловие Нодье, стремящееся доказать, что его роман вполне оригинален, несостоятельно.

Ламартельер, Жан-Анри-Фердинан (1761—1830)—французский литератор. Его «Роберт, атаман разбойников» вышел в 1799 г. (см. также предыдущее примечание).

К стр. 46. *Пиксерекур,* Гильбер де (1773—1844) — французский драматург и переводчик.

К стр. 50. *Карбонарии* — тайное общество революционного оттенка, во многом сходное с масонством и игравшее значительную роль в первой четверти XIX века в Италии и во Франции. Вступавший в общество давал клятву, что будет хранить в тайне все дела общества. Нарушение тайны каралось смертью.

К стр. 51. *Роке Гинарт* — испанский разбойник, живший в XVI веке; изображен Сервантесом в главах LX и LXI «Дон Кихота».

К стр. 54. *Боназоне,* Джулио (1510—1572) — итальянский живописец и гравер.

Бокки, Акилле (1488—1562) — итальянский эрудит и государственный деятель, основатель академии в Болонье.

К стр. 55. *Карраччи*, Агостино (1557—1602) — итальянский художник болонской школы, получивший известность главным образом как гравер.

«*Plectuntur Achivi*» — вторая часть изречения Горация (64—8 до н. э.): «Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi», т. е. «за безумства царей расплачиваются греки (народ)».

К стр. 57. «*Подражание Христу*» — духовное сочинение, вышедшее в свет в начале XV века и являющееся и поныне настольной книгой верующего католика. Автор этого сочинения неизвестен, но с наибольшим правдоподобием оно приписывается немецкому монаху Фоме Кемпийскому (1379—1471).

К стр. 62. *Аргонавты* — мореплаватели, отправившиеся, по древнегреческим сказаниям, на поиски «золотого руна». Во главе их стоял Язон. В Колхиде (на западном берегу Черного моря), куда они прибыли после многочисленных приключений, в Язона влюбилась дочь царя Колхиды — Медея. Поссорившись с царем, Язон и Медея бежали на корабле. В погоне за ними участвовал брат Медеи — Апсирт, но беглецы победили преследователей, причем Медея убила брата.

Япиг (греческая мифология) — по одной версии сын Ликаона, царя Аркадии, и основатель колонии в южной Италии; по другой — сын Дедала и брат Икара. Япиги — племя, населявшее в древности юго-восточную часть Италии.

К стр. 63. *Диомед* — царь Аргоса (область древней Греции), участник Троянской войны; вместе с другими находился внутри деревянного коня, с помощью которого была взята Троя. По преданию, основал несколько итальянских городов.

Антенор — один из старейшин Трои, после гибели которой переселился в Италию, где, по преданию, основал Падую.

Аквилея — в древности большой и могущественный город-крепость, являвшийся ключом к северо-восточной границе Апеннинского полуострова. Разрушен вождем

гуннов Аттилой (см. ниже), после чего военное могущество Аквилеи кончилось. Собор построен в XI веке.

Тимав — река в Истрии.

Аттила — царь гуннов, кочевого азиатского народа, наводнившего Европу в V веке. Аттила, прозванный «бичом божьим», основал огромное государство, во главе полумиллионного войска прошел всю Германию, перешел Рейн. Второй набег его был направлен через Альпы на Апеннинский полуостров, где он разрушил несколько городов (Милан, Падую, Аквилею), угрожал Риму, но папа Лев I откупился от него. Вскоре после этого Аттила умер (453).

Данте (1265—1321) — итальянский поэт, автор «Божественной комедии», «Новой жизни», сонетов и т. д. Принимал участие в борьбе политических партий Флоренции и после победы своих противников был навсегда изгнан из родного города и даже приговорен (заочно) к смертной казни (1302). Данте до конца своей жизни не смог вернуться на родину и умер изгнанником в Равенне в сентябре 1321 г. Точных сведений о местопребывании Данте после изгнания нет. Слова г-жи Альберти о том, что Данте нашел убежище в замке близ Триеста и начал там «Божественную комедию», ни на чем не основаны. Когда именно приступил Данте к своей поэме, также неизвестно; существовало мнение, что первые семь песен «Ада» написаны им до изгнания, но новейшие исследователи относят всю поэму к более позднему времени — приблизительно к 1310 году.

К стр. 65. *Гондола* (правильнее — Гундулич), Иван (1588 — 1638) — дубровницкий поэт, автор героической поэмы «Осман».

К стр. 67. *Скандербег* (Кастриота Георг; 1404—1467) — национальный албанский герой; вел успешные войны с турками.

Пирр (IV — III века до н. э.) — царь эпиротов (Греция). Совпадение некоторых эпизодов жизни Пирра и Скандербега дает повод для их сравнения.

К стр. 71. *Медея и Апсирт* — см. прим. к стр. 62.

Салона — прибрежное село в Далмации (около Спалато), куда в 305 г. удалился римский император Диоклетиан (245—313), сложив с себя власть.

Морлаки (или влахи) — славянские обитатели Далматинских гор.

К стр. 72. *Неретва* — река и примыкающая к ней область в Далмации.

К стр. 73. *Оссиан* — см. прим. к стр. 42.

К стр. 79. *Де Ланкр*, Пьер (умер в 1630) — французский чиновник и писатель. Известен пытками, которым он подверг множество обвиненных в колдовстве в провинции Лабур; по его приказу было сожжено около пятисот человек (как теперь предполагают, в Лабуре имел место случай массового умопомешательства). В своих сочинениях он всюду видит руку дьявола.

К стр. 82. *Цетинье* — некогда значительный город; во время франко-австрийской войны 1809 г. переходил из рук в руки; впоследствии пришел в упадок; столица Черногории.

К стр 93. *Бо́ра* — внезапно поднимающийся сильный северный ветер на берегах Адриатического и Черного моря.

К стр. 102. *Льюис*, Мэтью-Грегори (1775—1818) — английский писатель и дипломат, автор «Монаха» и «Венецианского разбойника» (см. также прим. к стр. 45).

К стр. 103. *Горицня* — город вблизи Триеста.

Брента — река, протекающая через Падую и впадающая в Венецианский залив.

К стр. 106. *Горра* — венецианская шапочка, связанная из черного шелка.

К стр. 123. *Мильтон*, Джон (1608—1674) — английский поэт, автор «Потерянного и возвращенного рая».

К стр. 133. *Клопшток*, Фридрих-Готлиб (1724—1803)— немецкий поэт, один из основоположников буржуазной литературы в Германии, автор религиозной поэмы «Мессиада» и ряда патриотических драм.

К стр. 142. *Шатобриан,* Франсуа-Рене, виконт (1768—1848) — французский писатель, один из родоначальников романтической школы. Во время Французской революции эмигрировал, после реставрации Бурбонов был министром. Аристократ по происхождению и убеждениям, он отразил в своих сочинениях, полных мистики и грусти, разочарованность своего класса, потрясенного революцией. На русский язык произведения его переводились неоднократно; в 1932 г., в серии «История молодого человека XIX века», вышла его повесть «Рене».

К стр. 144. *Терра-Ферма* — по-итальянски «материк»; во времена Венецианской республики так назывались все венецианские провинции, расположенные на материке.

К стр. 157. *«...принял участие в восстании сербов...»* — Восстание сербов против турок началось в 1804 г. и продолжалось под руководством Карагеоргия несколько лет.

К стр. 162. *Тезей* — герой греческой мифологии.
Пирифой — друг и сподвижник Тезея.
Ромул (римская мифология) — сын бога войны Марса и дочери царя Альбы, Реи-Сильвии; основатель Рима.

К стр. 163. *Марс* был судим богами за убийство Галироция (сына Нептуна).

К стр. 167. *Смит,* Шарлотта (1749—1806) — английская писательница и поэтесса.

К стр. 186. *Гервей,* Джон (1696—1743) — английский государственный деятель и писатель.

К стр. 187. *Тавр* — горная цепь в Малой Азии.
Патриции — родовая древнеримская аристократия.
Авгуры — римские жрецы, предсказывавшие исход того или иного предприятия, а также разъяснявшие волю богов на основании различных примет.

К стр. 188. *Ликург* (IX век до н. э.) — легендарный спартанский законодатель, уравнявший имущественное положение своих соплеменников.
Тантал — мифологический царь Лидии (Малая Азия), был осужден богами на вечный голод и жажду. Согласно

легенде, он стоит в Тартаре (подземном царстве) по горло в воде, но как только наклоняется, чтобы пить, вода ускользает от него; над ним висят прекрасные плоды, но он не может их достать.

«*Пропасть Курция*».— По преданию, в IV веке до н. э. на римском форуме открылась пропасть, предвещавшая, по разъяснению жрецов, надвигавшуюся на Рим опасность, которая может быть предотвращена только в том случае, если город пожертвует своим лучшим сокровищем. Римский юноша Марк Курций, желая отдать свою жизнь на благо отечества, бросился в пропасть в полном вооружении, воскликнув: «Нет лучшего сокровища в Риме, чем оружие и храбрость!» После этого пропасть закрылась.

Ареопаг — верховное судилище в древних Афинах.

К стр. 190. «*Общественный договор*».— Лотарио имеет в виду договор, лежащий, согласно учению Руссо, в основе общества. По этому неписанному условию каждый человек, живущий в обществе, обязуется подчинить свою волю воле коллектива. Трактат Руссо на эту тему, вышедший в 1762 г., играл большую роль в эпоху Великой французской революции. В записной книжке Лотарио вообще сильно сказывается влияние Руссо.

К стр. 192. *Немврод* — легендарный основатель Вавилона (Халдея — в Малой Азии) и знаменитый охотник.

К стр. 193. *Дельфийский храм* — храм Феба-Аполлона в Дельфах (Греция). Лотарио намекает на поступок Герострата, поджегшего в 356 г. до н. э. великолепный храм Артемиды в Эфесе с единственной целью прославиться.

К стр. 195. *Пан* — бог природы (греческая мифология). Древняя легенда говорит, что в царствование императора Тиберия (I век н. э.) мореплаватели услышали однажды доносившиеся с островов возгласы: «Умер великий Пан!» В первые века христианства это истолковывалось как символ гибели старого мира и зарождения нового.

К стр. 196. «*...что Церера страдает от голода у матери Стеллиона*».— Однажды богиня плодородия Церера,

разыскивая по всему свету свою дочь Прозерпину, так проголодалась, что вынуждена была просить подаяния у одной бедной женщины (греческая мифология).

«Венера ранена Диомедом...» — В «Илиаде» повествуется, что Диомед по ошибке ранил Венеру в руку, когда она во время битвы помогала Энею (см. прим. к стр. 62).

«Колыбель Геркулеса окружена змеями... он умирает, пожираемый туникой...» — Согласно древнегреческому мифу, когда Геркулес (Геракл) родился, Юнона (Гера) подослала к его колыбели двух драконов и двух змей, чтобы погубить его, но ребенок задушил их собственными руками. Среди многочисленных подвигов Геркулеса числится убийство кентавра Несса. Кентавр передал жене Геркулеса Деянире свою тунику, пропитанную кровью и ядом, сказав, что она имеет силу возвращать любовь изменяющих супругов. Когда Деянира стала подозревать Геркулеса в измене, она послала ему эту тунику, надеясь вернуть себе его расположение. Но как только Геркулес надел тунику, яд проник в его тело, и он в страшных мучениях умер.

К стр. 197. Эпиграф — надпись на вратах ада из «Божественной комедии». Перевод Д. Е. Мина.

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

1. К странице 60 64
2. К странице 82 80
3. К странице 100 96
4. К странице 120 120
5. К странице 156 160
6. К странице 211 208
7. К странице 225 224
8 К странице 230 230

Портрет Нодье — работы Полен Герен —фронтиспис

СОДЕРЖАНИЕ

И. Нусинов Шарль Нодье 7

Жан Сбогар 39

Примечания 233

Перечень рисунков 246

Редактор А. М. Эфрос
Художественная редакция
М. П. Сокольников
Лит.-технич. наблюдение
А. Н. Плавильщиков
Техред И. А. Подсухин
Наблюдение на производ.
М. И. Козлов

Сдано в набор 9.IX. 33.
Подписано к печ. 28.II.34.
Уп. Главл Б-33773. Ас 63.
Инд. А—1. Бум 74×105-1/32
П. л. 15 1/2 + 9 вкл. Авт. л. 10.
Тираж 5.300. Тип. знак на 1
бум. лист 92 918. Зак. 7208.

Отпечатано на ф-ке книги
«Красный пролетарий»
Партиздата. Москва,
Краснопролетарская, 16.

Цена Р. 6.00
Переплет Р. 2.00

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Вышли в свет:

ЭЖЕН СЮ

Атасфер

т. I

ВАЛЛЕС

Юность

Бедный студент

МЕРИМЕ

т.т. I и II

В печати:

БОМАРШЕ

Трилогия

СКАРРОН

Комический роман

ФЕЛИКС ПИА

Избранные сочинения

«АСАДЕМІА»

Москва, Б. Вузовский пер., 1
Ленинград, Пр. 25 октября,
«Дом книги»

«АКАДЕМИЯ»

РЕНЬЯР ВОЛЬФ

ЖАН СБОГАР

Среди французских романтиков начала XIX века Шарль Нодье—одна из наиболее интересных фигур. Как и В. Гюго, он принадлежит к мелкобуржуазным романтикам. Но при разрыве группы Гюго с тогдой романтико-аристократов, Нодье не пошел за Гюго в сторону декоративной и реакционных. Выражая настроения тех самых мелкой буржуазии, которые устали от событий, он предпочел остаться одиноким и сделал попытку придать свое творчество в частную литературу, в критике от буря эпохи. И он действительно стал замечательным рассказчиком, создавшим свой оттенок стиля, собственную вариацию жанра. Особенно мастерски достигает он, утробленная в ряде фантастических новелл и знаменитом романе «Жан Сбогар» жанны чемпионов и ужасов. Но «Жан Сбогар» — не только шедевр литературного мастерства и образец психологического повествования, он также представляет собой манифестацию отсутствия идеалов утопического социализма. Советский читатель должен знать это увлекательное произведение, сохранившее немалую роль в истории литературы и общественной мысли XIX века.

Цена Р. 6.00
Переплет Р. 2.00